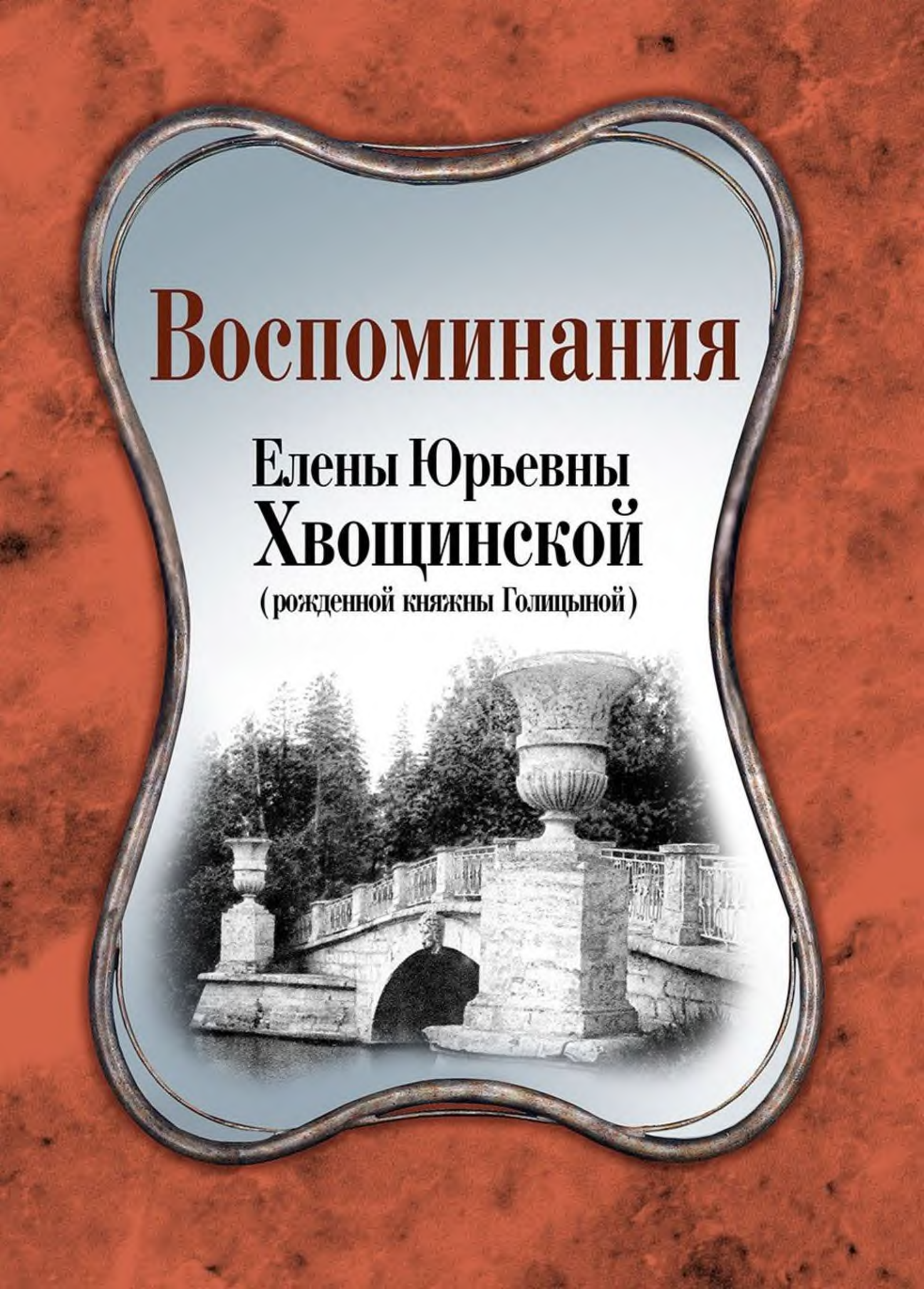


Воспоминания

Елены Юрьевны Хвощинской

(рожденной княжны Голицыной)

Государственная публичная
историческая библиотека России

Вглядываясь в прошлое

ВОСПОМИНАНИЯ

ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ ХВОЩИНСКОЙ

(рожденной княжны Голицыной)

Москва
2016

УДК 94 (47) (093)
ББК 63.3 (2) 47
Х 34

Печатается по изданию: Хвощинская Е. Ю. Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской (рожд. княжны Голицыной), (из журнала «Русская старина» 1897 и 1898 гг.).— СПб.: Т-во «Обществ. польза», 1898.— [3], 153 с., 3 л. портр.

Хвощинская Е. Ю.

Х 34 Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской (рожд. княжны Голицыной) / предисл., коммент. М. А. Поляковой; Гос. публ. ист. б-ка России.— Переиздание книги 1898 г.— М., 2016.— 256 с.: ил.— (Вглядываясь в прошлое).

ISBN 978-5-85209-381-3

Елена Юрьевна Хвощинская (1850—1907) — дворянка, дочь известного российского хорового дирижера и композитора Ю. Н. Голицына. Описывая жизнь и события своей семьи, она невольно рисует яркую картину провинциальной усадебной России 1850—1860-х годов. Частое обращение автора к мемуарам отца и письмам двоюродной бабушки придает тексту необычайный колорит и большую достоверность. Повествование прекрасно иллюстрирует нравы дворянства того времени, взаимоотношения его представителей с людьми простого сословия, представляет картины семейных праздников, балов и разных забавных ситуаций.

УДК 94 (47) (093)
ББК 63.3 (2) 47

ISBN 978-5-85209-381-3

«КАРТИНА, НАРИСОВАННАЯ БЕЛЫМИ КРАСКАМИ...»: ВОСПОМИНАНИЯ Е. Ю. ХВОЩИНСКОЙ

Имя Елены Юрьевны Хвощинской (1850—1907), урожденной княжны Голицыной, известно специалистам и любителям отечественных мемуаров прежде всего по ее воспоминаниям, опубликованным в «Русской старине» в 1897—1898 годах*. Как и большинство мемуаров, эти воспоминания были написаны для узкого семейного круга. Как писала сама мемуаристка — многим «характер их покажется слишком интимным». И тут же она замечает, что после написания воспоминаний у нее возникло желание познакомить с ними широкую публику. Это побуждение Елены Юрьевны было вполне обоснованным: воспоминания были посвящены близким ей людям — родителям, двоюродной бабушке. Но имена этих дорогих мемуаристке людей были известны не только в России, но и за рубежом. Это прежде всего относится к имени ее отца — Юрия Николаевича Голицына (1823—1872) — известного российского хорового дирижера, композитора, знаменитого «Юрки» — весельчака и балагура, анекдоты о котором можно найти во многих мемуарах того времени. Жизнь его была яркой и интересной — это была жизнь творческой личности. С начала 1840-х по 1857 год он руководил хоровой капеллой, созданной из принадлежавших ему крепостных крестьян. С этой капеллой, количество певчих в которой достигало 150 человек, князь гастролировал по многим российским городам, а в 1860-е годы с различными хорами выступал также в Берлине, Лондоне, Париже, Праге, Нью-Йорке. Гастроли Ю.Н.Голицына

---

* Рус. старина. 1897. Т. 89, № 3; Т. 90, № 4—5; Т. 91, № 9; 1898. Т. 93, № 3; Т. 94, № 4—6; Т. 95, № 7.

славились своим репертуаром — в него были включены произведения Д.С.Бортнянского, А.Ф.Львова, Г.Я.Ломакина. Известен он и как композитор, он сочинил не один десяток романсов, фортепианных пьес, несколько оркестровых сочинений, в том числе фантазию «Освобождение» в честь отмены крепостного права. Жизнь Голицына не была безоблачной и увенчанной только славой и лаврами — в ней были периоды, которые, по его словам, были полны «увлечений, самодурств, необузданности»*. За публикацию статьи в «Колоколе» А.И.Герцена он был выслан в г. Козлов, в 1860 г. эмигрировал в Англию, через несколько лет вернулся в Россию. Он оставил свою семью, хотя отношения с детьми у него оставались очень теплыми. Многое в жизни этого неординарного человека было овеяно клеветническими легендами, мифами, обраставшими в светских салонах новыми выдуманными деталями и подробностями. Именно это побудило его дочь Елену восстановить правду о своем отце, и одной из задач, которую она стремилась решить в своих воспоминаниях,— «опровергнуть много лжи, которую распускали в обществе об отце, в чем он сам часто бывал виноват, выдумывая на себя разные небылицы для потехи публики»**.

Хвощинская много пишет об отце, его жизни, в которой было много необдуманных поступков, романтических увлечений, безысходного безденежья и одиночества. В воспоминаниях Елены Юрьевны нет и тени осуждения своего отца, хотя его уход из семьи принес много горя матери мемуаристки — Екатерине Николаевне Голицыной, урожденной Бахметевой (1822—1889) и двум ее сестрам — Софье Голицыной, в замужестве Потемкиной (1851—1919) и Татьяне, в замужестве Гальвани (1853—1933), брату Евгению (1844—1887). Мемуаристка, сама музыкально одаренная, восхищалась талантом отца, она описывает его творческие успехи, подробно останавливаясь на созданных им музыкальных произведениях, гастролях по России и всему миру.

Елена Юрьевна с большой любовью пишет и о своей матери — Екатерине Николаевне, жизнь которой была полностью посвящена детям. Женская доля Екатерины Никола-

---

* Голицын Ю.Н. Прошедшее и настоящее: из записок Ю.Н.Голицына. СПб., 1870. С. 3.

** Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской (рожденной княжны Голицыной). СПб.,1898. С. 1—2.

евны была типичной для русской дворянки, муж которой, мало думая о судьбе своей семьи, мог растратить все имеющиеся средства, заложить и перезаложить имения. Мать мемуаристки, стремясь устроить судьбу своих дочерей и сына, применяла все возможные средства, чтобы дать образование детям, удачно выдать замуж дочерей, поправить финансовые дела сына. Очень часто она обращалась к своим богатым родственникам, которые много помогали практически разоренной многодетной семье Голицыных. Так, ее сестра Софья Николаевна, в замужестве Герасимова (?—1885), видя бедственное положение семьи своей сестры, передала родовое село Огарево, полученное в приданое, во владение Екатерины Николаевны.

Очень многое для семьи Голицыных, особенно для мемуаристки, сделала Татьяна Борисовна Потемкина, урожденная Голицына (1797—1869) — статс-дама, близкая к Императорскому дому, подруга и наперсница великой княгини Марии Николаевны. Широко известная своей благотворительной деятельностью, Татьяна Борисовна на свои средства создавала приюты для детей, богадельни для призрения дряхлых и больных. В 1827 г. она возглавила Санкт-Петербургский дамский попечительный комитет о тюрьмах. Ею была восстановлена Святогорская пустынь на берегу Северского Донца (ныне лавра).

Будучи родной теткой отца мемуаристки (Елена Юрьевна называет ее в воспоминаниях двоюродной бабушкой), Татьяна Борисовна принимала самое живое участие в судьбе дочерей своего племянника. Сестры Голицыны часто гостили в усадьбе Потемкиных Гостилицы, в петербургском доме на Миллионной улице, в Святогорске рядом с возрожденной пустынью. Особенной любовью пользовалась Елена Юрьевна, которая была частой гостьей в доме своей родственницы. Для развития вокальных способностей Елены Татьяна Борисовна приглашала ей учителей. На первый свой бал юную Елену провожала любимая бабушка. Мемуаристка с восторгом и любовью вспоминает эту добрейшую женщину.

Татьяна Борисовна помогала и своему брату Николаю Борисовичу (1794—1866), отцу «Юрки». Любивший жить широко, он расстроил состояние и был вынужден заложить свое имение Богородское. Татьяна Борисовна выкупила имение и отдала его под управление супруги брата.

Из воспоминаний Хвощинской мы узнаем также и о других родственниках семьи Голицыных — Бахметевых,

Головкиных, Дуниных, Салтыковых. У многих из них мать мемуаристки вместе с детьми подолгу гостила, приезжая на семейные и православные праздники.

Тон воспоминаний Елены Юрьевны о своей семье, любимых родственниках необычайно теплый и добрый. Неслучайно сама мемуаристка определила их как «картину, нарисованную белыми красками на светлом фоне». Вспоминая о своих близких людях, она часто опирается на письма и мемуары отца, письма Татьяны Борисовны Потемкиной. Это обращение к первоисточнику придает воспоминаниям Хвощинской необычайный колорит — с их страниц вы как будто слышите живой голос людей, которые сыграли такую важную роль в жизни мемуаристки. Кроме того, это придает и бо́льшую достоверность тексту самой Елены Юрьевны.

Воспоминания Хвощинской были написаны в 1880-х — начале 1890-х годов. Многое она обсуждала со своей матерью, которая фактически благословила ее на их публикацию. Текст воспоминаний заканчивается 1869 г.— описанием смерти и похорон любимой бабушки мемуаристки Татьяны Борисовны. Напомним, что они впервые были опубликованы в «Русской старине» в 1897—1898 гг.

Что же нам известно о самой Елене Юрьевне? Детские и юные годы ею описаны в воспоминаниях. Вся дальнейшая ее жизнь малоизвестна. В январе 1875 г. она вышла замуж за Николая Васильевича Хвощинского (1845—1912 или 1916), гвардии ротмистра, в 1906—1911 годах предводителя дворянства в Чембарском уезде Пензенской губернии. О детях Хвощинских сведений немного. Доподлинно известно о сыне — Георгии Николаевиче Хвощинском (1878—1928 или 1931), российском и советском военачальнике, генерал-майоре (1917). С 1895 г. он стал именоваться Головкиным-Хвощинским, т.к. заповедное имение графов Головкиных перешло к роду Хвощинских. Он окончил Константиновское артиллерийское училище, в 1905 г.— Николаевскую академию Генерального штаба. С февраля 1918 г.— доброволец в РККА, с апреля — начальник Тульской строительной дивизии. В 1924 г. был уволен от службы. По одной версии — в 1928 г. застрелился, по другой — в 1931 г. был расстрелян.

В известном указателе мемуаров, выходившем под редакцией П. А. Зайончковского, о Е. Ю. Хвощинской сказано

очень кратко — «помещица»[*]. Действительно, после замужества Елена Юрьевна с семьей проживала в Пензенской губернии. Да и ее юные годы, которым посвящены воспоминания, тесно связаны с провинциальной усадебной жизнью. На страницах воспоминаний упоминаются родовое гнездо Голицыных-Салтыковых — Салтыки (Усманского уезда Тамбовской губернии — ныне с. Ново-Черкутино Добринского района Липецкой области), село Огарево Пензенской губернии, переданное во владение матери мемуаристки Елены Николаевны, село Богородское Курской губернии (ныне Новооскольского района Белгородской области). Часто бывала юная Елена и в богатой усадьбе Потемкиных — Гостилицы близ Петербурга. Описывая события своей семьи, мемуаристка невольно рисует нам широкую яркую картину провинциальной усадебной России 1850 — 1860-х годов.

Елена Юрьевна, воспитанная в традициях патриархальной дворянской семьи, была противницей коренного реформирования привычного сложившегося уклада. Грядущие реформы пугали ее, она пишет: «...тогдашнее общество с каким-то ожесточением отрекалось и бросало все старое, не оставляя даже хорошего из своего былого, жадно хватаясь за все новое...»[**]. Новые веяния, коснувшиеся тогдашнего российского общества, вызывали у нее чувство протеста. Осуждая «легкомыслие, царившее тогда во всех слоях общества», она не могла понять, как можно требовать от детей не привычной почтительной любви к родителям с обращением к ним на «вы», а товарищеских отношений с переходом на простое «ты». Обращение же к прислуге на «вы» она считала просто «пустяком, достойным смеха». Прежние патриархальные семейные отношения с почитанием родителей, беспрекословным подчинением детей родительской воле считались мемуаристкой более достойными. Свобода шестидесятых годов, коснувшаяся общества и семьи в частности, называлась ею «искаженной свободой, которая тогда облетела всю Россию, сделав много вреда во всех слоях общества»[***]. Общество, по ее словам, просто «обезумело», особенно раздражало ее слияние сословий. Дворянин, по мнению мемуаристки, должен держать себя с достоинством,

---

[*] История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 2, ч. 2. М., 1978. С. 68.

[**] Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской... С. 34.

[***] Там же. С. 53.

сообразно своему дворянскому статусу. «Началось со слития сословий, с пожатия рук купцам и кулакам,— писала она,— а там и панибратство с ними»*.

«Искаженная свобода» повлияла, по мнению Елены Юрьевны, и на умы крестьян. И это влияние было также пагубным: «Свобода же в руках мужика привела его к нищете и преждевременной могиле; свобода, в его понятиях, не допускающая старшинства в семье, привела к разделам, к кабакам и к смерти от опоя...»** В пореформенное время, по мнению мемуаристки, крестьяне не берегли, как когда-то, в добрые старые времена, господского добра, а стремились при удобном случае извлечь из него свою выгоду и присвоить себе чужое.

Юная Елена росла в атмосфере добрых патриархальных отношений. «Люди были свои и люди преданные,— писала она,— у них был страх Божий, страх обидеть своих господ»***. Самые теплые слова нашла она, вспоминая свою няню: «А чудная была женщина наша няня! Такой преданности и таких высоких чувств трудно найти теперь между прислугой»****.

В дворянских мемуарах детские годы, как правило, предстают как самое счастливое время. Мемуары Е.Ю.Хвощинской не являются исключением. Несмотря на сложные отношения между родителями, разорение и полное безденежье, дети в семье Голицыных жили по-детски безмятежно и радостно. Елена Юрьевна вспоминает маскарады и званые вечера. Особенно весело было детям, когда вся большая дворянская семья праздновала православные праздники — Пасху, Рождество. Рождественские дни, прежде всего, ассоциировались с елкой и подарками, гаданиями, костюмированными представлениями. Как в любой дворянской усадьбе, очень торжественно праздновали день ангела хозяйки. В этот день приезжали родственники и соседи, он начинался всенощной, а затем, по словам Елены Юрьевны, «готовили какой-нибудь хороший сюрприз».

Тесная связь досуга дворянской семьи и народной традиционной культуры отмечена многими современниками.

---

* Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской... С. 53.

** Там же. С.54.

*** Там же. С.123.

**** Там же. С.52.

Отчетливо проявилось это и в жизни семьи Голицыных. Все члены семьи были музыкально одаренными людьми, в усадебных домах Салтыков и Огарева постоянно звучала музыка, с удовольствием пели под гармошку и русские песни. Неслучайно, что именно из крепостных крестьян Ю.Н.Голицын создал свою знаменитую капеллу, в репертуаре которой было много русских народных песен. Юная Елена очень любила русскую пляску. Она писала, что в русской пляске виден характер нации: «Наша русская пляска сначала плавная, грациозная, спокойная, как и наш брат,— спокоен и мягок, пока не расшевелить его «ретивое»; так и в русской пляске, звуки «трепака» пробуждают удаль»*. Елена Юрьевна много раз повторяла, что она «русская девушка», выросшая в «русской деревне». Знаменательны в этом отношении страницы воспоминаний, на которых описана русская пляска пятнадцатилетней Елены. Невольно вспоминаются толстовские строки о пляске Наташи Ростовой. «Когда, бывало, слышала я песню «Шла девица за водой, за холодной ключевой»,— вспоминала Елена Юрьевна,— то невольно руки мои поднимались над головой и хотелось плавно, как лебеди плывут по воде, неслышно выступать, не касаясь почти пола... Когда же такая музыка переходила на «трепак» или «барыню» — вскинешь, бывало, плечами, посмотришь на своего кавалера... и пойдешь плясать так, что никого и ничего уже не видишь, отдаваясь всей душой родным звукам!»**.

Елена Юрьевна была дочерью своего отца — она так же тонко чувствовала музыку, сама была музыкально одарена, обладала тонким юмором и живым пылким темпераментом. Ее воспоминания — это дань ее талантливому отцу, дорогим ее сердцу родственникам. И не только: перед нами широкая яркая картина помещичьей России. Бесспорно, эта интересная познавательная книга найдет своего читателя, как среди специалистов, так и среди широкой читающей аудитории. Данное издание позволит наконец сделать этот памятник мемуарной литературы доступным всем, кто интересуется отечественной культурой второй половины XIX века.

М. А. Полякова

---

* Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской... С. 92.

** Там же.



Княгиня Екатерина Николаевна Голицына
(рожденная Бахметева)



ВОСПОМИНАНИЯ ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ ХВОЩИНСКОЙ

(рожденной княжны Голицыной)

Лет десять тому назад у меня зародилась мысль рассказать подробно о жизни моей матери, княгини Екатерины Николаевны Голицыной, и моей двоюродной бабушки Татьяны Борисовны Потемкиной[1]. Тогда я начала припоминать все, что знала о них, и решилась писать воспоминания о дорогом для меня прошлом.

В моем рассказе немалую долю займет память о моем отце[2], который был известен не только в России, но и за границей своим пером и музыкальным талантом.

О тех же людях, которые доброй памяти не стоят, я буду говорить вскользь или совсем умолчу. Может быть, это будет большой пробел в моих воспоминаниях, может быть, это будет «картина, нарисованная белыми красками на светлом фоне», но так как я предпочла бы поднять жемчужину с чистого пола, а не искать ее в грязи и соре — так и в настоящий момент мне приятнее будить в памяти образы хороших людей.... Это не мешает мне быть правдивой, не идеализировать близких моему сердцу и не отступать от истины.

Уяснив цель моих воспоминаний, я прошу читателей не удивляться, если характер их покажется

слишком интимным; но я писала их для детей, не думая отдавать в печать. Когда же я читала их моей матери, от которой узнавала многие подробности и факты описываемого времени, она говорила мне: «После моей смерти ты можешь напечатать свои воспоминания — ими ты опровергнешь много лжи, которую распускали в обществе о твоем отце, в чем он сам часто бывал виноват, выдумывая на себя разные небылицы для потехи публики». Одобрение матери, конечно, мне было дорого, восстановить правду о моем отце я считала своим долгом, и зародившаяся мысль, что не одним моим детям интересно будет познакомиться с лицами и событиями моего времени, побудили меня предложить эти записки вниманию читателей.

I

Прабабушка М. Д. Дунина.— Флигель-адъютант Бенкендорф и его женитьба.— Генерал Курис, зять М. Д. Дуниной.— Моя мать.— Мой отец, князь Юрий Николаевич Голицын

Мать моя родилась и выросла в селе Водолагах* Харьковской губернии[3]. Родители ее были люди очень богатые и жили патриархально в многочисленной семье.

Бабушка моей матери, генеральша Мария Дмитриевна Дунина, рожденная Норова[4], была очень выдающейся женщиной по уму, образованию, характеру и доброте. Она была фрейлиной при дворе императрицы Екатерины Великой. Отец ее, харьковский губернатор, известен был в своем округе глубокою набожностью и честностью; эти душевные качества он передал своей дочери Марии Дмитриевне. Муж ее, Иван Петрович Дунин, был генерал-аншеф[5], участво-

---

* Село Водолаги было родовое имение Дуниных.

вал в нескольких войнах и был не раз ранен. Во время Очаковской осады и сражения при Праге жена его была с ним, и генералы называли ее своею матерью. Румянцев, Суворов, Потемкин ценили ее как достойную женщину и уважали как умную, честную жену их друга, генерала Дунина; все любили в ней также добрую, благодетельную христианку, какою она была всегда для своих крепостных людей. Во вдовстве она прожила 46 лет. У нее было шесть дочерей и один сын, который во время Отечественной войны был убит в Бородинском сражении.

На Бородинском поле он был назначен состоять при главнокомандующем армиею, и, несмотря на такое лестное назначение, молодой Дунин не принял его.

— Полк мой идет в сражение, и я, сын израненного генерала, должен быть с полком. Я адъютант — после сечи.

Воля Божия была взять его: он был убит.

Мать его приняла эту скорбь как истинная христианка и покорилась воле Божьей без ропота. Тогда всей душой привязалась она к своим дочерям*, и, выдавая их замуж, она не делила состояние, а всех дочерей держала при себе, пристраивая для того к своему дому помещения. Она неусыпно заботилась об их благосостоянии, помогая своим зятьям и словом, и делом. Дочери дарили ей каждый год то внучат, то внучек. Внучат у Дуниной было 24, а правнуков 76. Ей было за 80 лет, когда она скончалась.

Моя мать была пятая дочь Софии Ивановны и Николая Дмитриевича Бахметевых[6], у которых было восемь человек детей. Дедушка мой, Николай Дмитриевич, был добрый, заботливый и любящий отец; он своими трудами нажил детям очень хорошее со-

---

* Дочери прабабушки Дуниной были: графиня Елена Сиверс, София Бахметева, генеральша Курис, Евдокия Черепанова, баронесса Варвара Пиллар и Мария Гревс.

стояние, был прекрасным хозяином и примерным помещиком для своих крестьян.

Итак, все шесть сестер Дуниных со своими детьми и даже внучатами жили и воспитывались в селе Водолагах у прабабушки Дуниной. Но, кроме ее детей, у нее в доме жили еще и племянницы. Одна из них, молодая вдова Бибикова, рожденная Донец-Захаржевская[7], дочь ее сестры, была любима ею как родная дочь. Муж ее был убит на войне во время (кажется, также) Бородинского сражения. Уезжая из Вододаг и оставляя там жену свою, он в альбом прабабушке Дуниной написал следующее стихотворение, как бы предчувствуя свою смерть:

В бой иду не унывая,
Любовь жены и Бог со мной,
Спасу ее, Отечество спасая,
И тем украшу жребий свой.

* * *

При знаме, если придется умирать,
Стоять я буду, не робея,
И, дух последний испуская,
Образ Лизы обнимать.

Павел Бибиков.

Vodolagy, 1809, 1 avril.

Прабабушка Дунина была в переписке со вдовствующей в то время императрицей Марией Феодоровной[8], и вот по какому поводу она однажды написала ей: в Харьков приехал элегантный флигель-адъютант Бенкендорф[9], а так как вся молодежь стекалась у прабабушки, то и он не замедлил представиться ей. Красивая молодая вдова Бибикова приглянулась ему — он стал за ней ухаживать. Прабабушка сначала смотрела одобрительно на это ухаживанье, думая, что оно кончится предложением, и партия эта для любимой племянницы ей улыбалась, но, уви-

дев, что молодой человек ухаживает для препровождения времени, а молодая вдова заинтересовалась им,— прабабушка стала тревожиться. Недолго думая, она написала императрице письмо, спрашивая о личности Бенкендорфа и достоин ли он, чтобы вручить ему судьбу своей любимой племянницы. Государыня с лестным отзывом о Бенкендорфе прислала образ, которым прабабушка, неожиданно для молодого ухаживателя, благословила его и племянницу свою от имени государыни.

К счастью, устроив ловко и умно, но сюрпризом, судьбу молодых людей, впоследствии ни ей, ни им не пришлось раскаиваться, так как супруги были счастливы.

Дом Марии Дмитриевны Дуниной был в таком почете, что всякий считал за счастье бывать у нее, а тем более породниться с нею. Доказательством тому может служить следующий факт: одна из шести дочерей ее, а именно третья, была хотя и красива, но имела горб сзади и спереди. Прабабушка держалась правила выдавать дочерей в замужество по старшинству. Настала очередь горбатой ее дочери: приезжает вдовец генерал Курис[10] сватать одну из ее дочерей, но не о той думал он, которая стояла на очереди...

У сестер Дуниных было общее черное бархатное платье, отделанное гирляндами из роз и в котором они представлялись являющимся женихам. И вот нарядили бедную горбатенькую в это платье, вывели к старому генералу, и прабабушка, подводя ее к нему, сказала: «Вот тебе невеста». Он смутился и скромно сказал, что «не эта ему нравится, а другая... Авдотья Ивановна»...

Прабабушка, нисколько не смутившись, ответила ему серьезно:

— Нет, старина, для тебя и эта хороша, а та и получше тебя найдет! Если хочешь быть моим зятем, то бери и эту.

Генерал женился; был счастлив, и жена была прекрасной мачехой для его детей.

В доме М. Д. Дуниной всегда царили порядок, мир, тишина и любовь. Конечно, такая громадная семья держалась и управлялась ее твердой рукой и добрым сердцем.

Когда император Александр I посетил однажды прабабушку Дунину и, увидав за обедом всю ее большую семью в сборе, выразил удивление, как может она заботиться о таком количестве детей,— прабабушка отвечала государю:

— Aux petits des oiseaux Dieu donne leur pâture*.

В сочинениях архиепископа Филарета Харьковского[11] есть прекрасное слово, сказанное им при погребении прабабушки. Он так живо, так сердечно говорит об этой необыкновенной женщине, ставя ее в пример женам и матерям. Этим словом он почтил память прабабушки, утешил детей и внучат ее и не мог не возбудить во многих желание походить на ту, которую эта большая семья любила, уважала и с ее кончиной чувствовала себя более чем осиротевшей. С кончиной ее Водолаги разделили, и они опустели...

Веселья там было немало, садилось за стол не менее сорока человек. Маленькие внучата все жили круглый год у своей бабушки, с кормилицами, няньками и гувернантками в селе Водолагах, находившемся в 50 верстах от Харькова; а те внучата, которые подрастали, и взрослые ездили на зиму в Харьков с родителями, где также был большой общий дом. Некоторых отвозили туда, чтобы кончать образование, а других веселиться и выезжать.

Девицы Бахметевы были все очень красивы, но лучше всех, говорят, были тетя моя, Елена Николаевна Бердяева, и моя мать[12]. Мама была небольшого роста, миниатюрного сложения, с темно-русой го-

---

* Бог кормит птичек и их птенчиков.

ловкой, правильными чертами лица, очень темными бровями, большими задумчивыми серыми глазами и прелестными зубками.

Несмотря на свою красоту, она считала себя очень некрасивой, что еще более придавало ей прелести, так как она олицетворяла собою скромность.

Такое мнение приобрела она о себе вследствие того, что в семье у них были любимицы и любимцы; а так как она была из числа не любимых «сандрилионок»[13], то в ней находили все некрасиво. Раз даже одна из тетушек ее, не допуская натуральный темный цвет ее бровей, подозвала к себе и строго сказала: «Что это ты, матушка, никак нафабрила себе брови?» и попросту, без затей, послюнявив носовой платок, стала тереть их...

У бабушки же Софии Ивановны были фаворитки: старшая дочь Надежда и предпоследняя — София[14]. Между моей матерью и Софией Николаевной был один год разницы в летах, так что они вместе учились и вместе выезжали.

Несмотря на предпочтение и баловство, которым окружали тетю Софию Николаевну, это не испортило добрых и дружеских отношений сестер. Это доказывает, насколько они были обе хорошие и добрые: одна не пользовалась своими правами баловницы, а другая не завидовала и предпочтение, отдаваемое сестре, принимала как вещь естественную и не называла это несправедливостью. Да, в то счастливое и разумное во многих отношениях время — имя отца и матери было священно! Тогда дети не только не смели обвинять поступки родителей, но помыслить даже о разборе их действий никто не смел.

Итак, мать моя, привыкшая получать все хуже всех и после всех, так сроднилась с той мыслью, что она должна думать обо всех, а о ней могут и забыть, что даже в мелочах обыденной жизни, как например: когда молодежь ходила собирать ягоды, она лучшую

никогда не съедала, а всегда несла ее кому-нибудь из любимых своих родственников. Эгоизма в ней не было ни капли — она всегда забывала себя для других.

Любимый цветок ее был фиалка, и она своею скромностью олицетворяла этот прелестный цветок, прячущийся за свои листочки; девиз ее был: «pour être heureux vivons cachés»*.

Вставала она с восходом солнца для того, чтобы готовить заданные ей уроки, и отправлялась в сад, где усердно занималась ими; прислуга, любившая ее за доброту и кротость, дала ей название: «Наша милая ранняя птичка». Если кому-нибудь из прислуги нужно было рано встать для какого-либо экстренного дела или детям для приготовления уроков, то всегда поручали будить их «ранней птичке», так как она никогда не просыпала час, который был нужен.

Учителя и гувернантки у внучат прабабушки Дуниной были иностранцы, и преобладающий язык в семье был французский, так что когда дети говорили по-русски, гувернантки в наказание привязывали им на грудь красные языки. Уроки же русского языка были в полном забвении, и мать моя во все время своего учения взяла только семь уроков родного языка, и то у священника малоросса, который вместо пять говорил «пиять» и вместо пятницы говорил «пиятница» и, вероятно, так же писал. Она любила заниматься рукоделием и усердно работала не только для себя, но с удовольствием помогала другим и часто доканчивала начатые и брошенные работы своих сестер — баловниц.

Гувернантки-иностранки строго следили за нравственностью, скромностью, хорошими манерами и разговором своих воспитанниц, но иногда от слишком большого усердия они не отличали хороших чувств от дурных.

---

* Для того, чтобы быть счастливым, нужно прятаться от света.

Вот случай, характеризующий то время, в которое скромность и стыдливость оберегались в детях в ущерб даже естественным хорошим побуждениям ребенка.

У одной из старших кузин матери, М. К. Мухановой, рожденной графини Сиверс[15], родился сын, и когда детей допустили посмотреть новорожденного, они с любопытством бросились в детскую на графскую половину (так называлась одна часть дома, занимаемая графиней Сиверс и ее семьей). Между детьми была и моя мать; она с интересом взглянула на красивого черноглазого мальчика, лежавшего на руках некрасивой кормилицы, и воскликнула:

— Ах! Если бы у меня был такой прелестный ребенок — я ни за что не отдала бы кормить его чужой бабе.

— А что бы ты сделала?— спросили другие дети.

— Я бы сама его кормила,— ответила она.

Гувернантка вскрикнула от удивления, услыхав из уст десятилетней девочки подобные, по ее мнению, нескромные желания, строго посмотрела на нее, поспешно вывела виновницу ее ужаса и всех детей из детской и через несколько минут наказала ее следующим образом: нарядила бедную девочку в сарафан кормилицы, повязала ее платком, подвязала подушку для того, чтобы придать более сходства с кормилицей, и, посадив в позу кормящей ребенка, дала в руки куклу, приглашая всех смотреть на наказанную и всю в слезах свою воспитанницу. Это было настоящее горе для стыдливой, застенчивой девочки, над которой так жестоко и несправедливо посмеялись!

Мать моя рассказывала мне, что она так мучилась, думая, что на самом деле сделала какое-то ужасное преступление, так ей было стыдно изображать кормилицу и так боялась она, что приведут и бабушку Дунину посмотреть на нее. Но, к сожалению, бабушку-то и не привели, и она не узнала об этом, а то, вероятно,

она не похвалила бы за подобное глупое, неуместное наказание блюстительницу нравственности.

Так как прабабушка Мария Дмитриевна была очень богомольна, то она приучала всю свою семью молиться богу. Мать моя была восторженная, увлекающаяся и всей молодой душой своей полюбила бога и так усердно молилась, что не пропускала ни одной службы; по этому поводу одна старушка, Мария Алексеевна, видя в ней такое духовное возбуждение и боясь, что оно остынет, говорила ей: «Друг мой, Катя! Твои молитвы хороши и угодны богу, но не пересаливай — хорошо идти вверх по лесенке, а не спускаться вниз...»

Простые и разумные эти слова мать нередко впоследствии вспоминала, когда ей казалось, что она не так усердно молится и не так любит бога, как бы должна была его любить и как любила прежде в молодые годы.

Водолажская молодежь часто ходила пешком на богомолье, и самая ретивая на подобные экскурсии была моя мать. Нередко она бывала в Киеве у сестры своей, Елены Николаевны Бердяевой, о которой я впоследствии буду говорить,— это также была дивной души женщина, проживши жизнь свою как праведница. В Киеве обе сестры часто посещали схимника отца Парфения[16], известного своей святою жизнью.

Одно время мать возмечтала поступить в монастырь и передала свое желание схимнику, прося благословить ее на этот путь, но он сказал: «Теперь не следует — иди тогда, когда сама Матерь Божия поведет тебя за руку».

Отец мой, князь Юрий Николаевич Голицын, был богато одарен как душевными и умственными, так и физическими качествами. Он походил на русского богатыря, нигде не проходил незамеченным и даже в толпе всегда обращал на себя общее внимание как своей красотой, ростом, так и благородной осанкой.

Душа его была полна разнородных чувств: добро и зло боролись в нем жестоко! В каждом человеке та же борьба, но она мелка и незаметна; в его же мощной натуре все чувства, все порывы души выходили из обыденных рамок, и вследствие этого жизнь его была переполнена приключений, бросающихся в глаза. Стихотворение графа Алексея Толстого[17] совершенно его олицетворяет:

Коль любить — так без рассудка,
Коль грозить — так не на шутку,
Коль ругнуть — так сгоряча,
Коль рубить — так уж с плеча,
Коли спорить — так уж смело,
Коль казнить — так уж за дело,
Коль простить — так всей душой,
Коли пир — так пир горой...

Отец мой рано потерял свою мать, а мой дедушка мало или, лучше сказать, совсем не заботился о своем сыне. Это сиротство, безалаберное воспитание, строгость и чрезмерное, иногда, баловство повлияли на пылкую натуру мальчика: у него выработался своевольный, необузданный, страшно вспыльчивый характер, но доброе сердце, прямота и великодушие всегда привлекали к нему и заставляли его любить и уважать.

Он часто страдал своими недостатками и постоянно бывал их жертвой. Отца можно было сравнить с молодым, горячим конем, как тот мчится к пропасти, не сознавая ни опасности, ни гибели своей и своего седока. Так и отец мой, вследствие своего пылкого нрава, во дни ранней молодости, разбил свою жизнь и увлек на путь несчастий близких его сердцу...

Своею чрезмерной прямотой, иногда непрошенной, так как он не стеснялся, говорил в глаза голую правду, он приобретал себе врагов; не любили его и люди с узким умом, мелкой душой, неспособные понять такую прямую, честную натуру, и люди, завидующие

его превосходству и удачам. Но зато друзья его, а их было немало, горячо любили и ценили сердечного, умного, честного, правдивого «Юрку Голицына»,— как его все называли*.

Отец мой много делал добра, и одна из симпатичных черт его характера была та, что он не хвастался своими добрыми делами; свои же недостатки и ошибки не скрывал и, сознавая их, отдавал себя на суд не только своих близких, но и на суд людской. В отрывках из его воспоминаний, которых он не кончил, ясно выказывается его прямая натура. Эти воспоминания были напечатаны, незадолго до его смерти, в «Отечественных записках», в 1869 г., под заглавием «Прошедшее и настоящее». Обращаясь к читателю, он говорит: «Пером моим будет руководить чистосердечное *я*, которое буду стараться выставить рельефно, во всей наготе, без малейших прикрас». Он не только не боялся злословия, но даже часто, чтобы дать пищу языкам, ради шутки, сам рассказывал о себе самые невозможные небылицы, и эти сказки быстро узнавались всеми с большими добавлениями и прикрасами. Отчасти это черта русского характера того времени. Почему путешественники-французы, как, например, Кюстин, писали так много пошлостей о России?[18] А именно потому, что русские, потешаясь над французами, рассказывали им всякий вздор, а они выдавали его за правду.

Так и теперь еще слышим иногда небылицы и невероятные анекдоты о князе Юрии Николаевиче Голицыне. Я считаю, что не одно описание не может так ясно и рельефно показать характер человека, как его письма, а потому я и помещу в своих воспоминаниях те немногие письма отца, которые сохранились к его друзьям и ко мне. В некоторых письмах выливается

---

* Алексей Зиновьевич Зиновьев[19] однажды выразился так: «Даже самые недостатки у князя Юрия Николаевича Голицына более симпатичны, чем достоинства у других».

вся его пылкая, чистая, благородная душа, все страдания, все горе, пережитое им в его короткую, но полную деятельности, энергии и силы, жизнь. Он умер 49-ти лет, в полном развитии своего музыкального таланта, в Петербурге, 2 сентября 1872 г. После его кончины, в «Биржевых ведомостях», была напечатана верная его характеристика и оценка его таланта и музыкальной деятельности. В этой же статье отец был назван «последним могиканом» из своих современников, последним честным русским бояриномбогатырем!

Теперь, дав краткий очерк его характера, я возвращаюсь к его ранней молодости и к началу его службы и ухаживанию за моей матерью.

В то время князь Юрий Голицын служил чиновником по особым поручениям у харьковского генералгубернатора, князя Николая Андреевича Долгорукова*[20]. Он был тогда очень молод, 18-ти лет, и славился своими шалостями.

Должность чиновника по особым поручениям не представляла много дел, а отец еще более упростил ее; так что раз князь Долгоруков, беспокоясь, что он ничего не делает, заметил ему это, сказав: «Mais mon chèr Georges, occupez vous donc de quelques choses»**. На другой день после такого замечания отец купил большой мешок орехов, отправился в комнату рядом с кабинетом князя Долгорукова, сел на диван и начал щелкать их. Вначале старик-князь все прислушивался к равномерному звуку, раздававшемуся рядом с его кабинетом, и зная, что там отец, крикнул ему:

— Georges que faîtes vous donc là?***

— Je m'occupe, mon prince****,— последовал ответ.

---

* Брат дяди отца моего, князя Ильи Андреевича, женатого на княжне Салтыковой, родной его тетке.

** Дорогой Юрий, займись же чем-нибудь!

*** Юрий, что же ты там делаешь?

**** Я занимаюсь, князь!

Тогда старик, заинтересованный делом своего чиновника, встал посмотреть, и каково было его удивление, когда увидел шалуна, сидевшего на диване с большим мешком на коленях и с орехом в зубах.

Занимаясь больше бездельем, молодой князь много выезжал в свет и, увидев скромную, тихую, красивую Екатерину Николаевну Бахметеву, влюбился в нее и решил, что она будет его женой.

Но препятствий для достижения этой цели ему предстояло много — он это видел, и чем больше их было, тем горячее была его любовь, тем он крепче держался за свою мечту, тем настойчивее старался удалять препятствия. Несмотря на то, что он был завидная партия, как по состоянию, так и по фамилии, но его молодость и репутация шалуна пугали благоразумных родителей и невест. Помог ему его ум, который не шел вразрез с его привлекательной наружностью. План был задуман и исполнен: он покорил сердца бабушек и тетушек, которые оказались впоследствии лучшими его адвокатами. Прежде всего он счел нужным, конечно, покорить прабабушку Дунину и, чтоб заинтересовать ее собою (она его не знала), в одно прекрасное утро, в воскресенье, зимой, отправился в Водолаги, прямо к обедне, и там, молясь за исполнение своей мечты, поклялся, что та, которую он полюбил, будет его женой!

После обедни он зашел к управляющему, напился чаю и уехал. Этого было достаточно, чтобы поднять все Водолаги на ноги, языкам дать пищу и сделать из моего отца нечто вроде сказочного героя, который, по рассказам всех, кто его видел, несомненно, должен был заинтересовать собой добрую и умную старушку-прабабушку; ей захотелось узнать, зачем этот красавец-князь приезжал в Водолаги и почему он не представился ей?

Она потребовала объяснение из Харькова, и ей ответила дочь ее, Бахметева, что князь Голицын один

из харьковских женихов, ухаживающих за «Катей», но которого следует опасаться, так как он славится своими проказами, и молодость его не дает ему права считаться женихом которой-нибудь из ее дочерей.

Прабабушка не осталась довольна объяснением и нашла недостаточно вескими причины, корившие такого молодца, красавца-князя, о котором Водолаги не переставали вспоминать, и сама захотела его видеть. Он был до такой степени привлекателен, что не могла старушка не пожелать для своей внучки такого жениха, который, при уме, любезности и красоте, обладал богатством и талантами: он был музыкант и превосходно пел.

Ну, как тут не очаровать старушек! Отец мой ликовал; он знал теперь, что судьба его решена. Ура! Прабабушка за него! Мама тоже недолго смотрела пугливо: сердце заговорило, она полюбила, и хотя со страхом, но решилась отдать свою судьбу в молодые руки... Вскоре они были объявлены женихом и невестой...

II

Предки отца моего: кн. М. М. Голицын, фельдмаршал князь Н. И. Салтыков.— Княгиня Н. Ю. Салтыкова.— Княгиня А. А. Голицына.— Князь Юрий Ал. Грузинский

Отец мой принадлежал, как по роду, так и по положению, к самым аристократическим и высокопоставленным фамилиям России. Его прадед был знаменитый князь Михаил Михайлович Голицын[21], который, на приказание Петра I снять осаду Шлиссельбурга и отступить, сказал посланному: «Передай государю, что я теперь принадлежу Богу и России, а потом принесу царю повинную голову на плаху». Крепость была взята*. Прадед моего отца, по матери, был воспитате-

* Соловьев, в своей «Истории», говорит следующее: «Князь Михаил Михайлович Голицын отличался самым привлекательным ха-

лем императора Александра I, фельдмаршал князь Николай Иванович Салтыков*[22].

Внучка фельдмаршала князя Салтыкова, княжна Елена Александровна Салтыкова, вышла замуж за князя Николая Борисовича Голицына[23]; у них было несколько детей, умерших в младенчестве; остался в

рактером среди вельмож Петровых: он не жаловал иностранцев. Несмотря на то, даже иностранцы не могли говорить без восторга об его уме, любезности, храбрости и великодушии. О нем рассказывают, что после сражения под Лесным Петр, богато наградивши Голицына, спросил: какой милости еще он желает? «Государь,— ответил Голицын,— прости Репнина»[24]. Репнин был ему враг. Рассказывают о нем также, что, будучи уже фельдмаршалом и отцом многочисленного семейства, он не смел садиться при старшем брате своем, князе Дмитрии, который был сенатором».

* П. Каратыгин, в историческом исследовании «Супружество императора Александра I», вот что пишет о князе Николае Ивановиче Салтыкове: «Воспитание Александра I было вверено двум наставникам, отличавшимся противоположными характерами, убеждениями и понятиями,— Николаю Ивановичу Салтыкову и знаменитому Лагарпу»[25]. Первый, человек добрейшей души, глубоко религиозный, был типом истого русского «боярина» старых времен, ревностного охранителя самодержавия. Второй, швейцарец, республиканец до мозга костей, ученик философов XVIII века, скептик и мизантроп; облагороженный, но все-таки далеко не привлекательный тип заезжего гувернера-иностранца, с предубеждением относящегося ко всему русскому, кроме рублей и полуимпериалов; он с корнем исторгал из сердца своего питомца все, что старался посеять в нем Салтыков,— разрушал все, что тот строил. Таким образом, в отношении к своим воспитателям, великий князь был поставлен в двусмысленное положение, при той весьма естественной антипатии, которую они питали друг к другу. Салтыков был восемнадцатью годами старше Лагарпа, по рождению состоял в родстве с императорским домом (отец его, Иван Александрович, был внучатным племянником императрицы Анны Иоанновны). Когда он принял великого князя на свое попечение, он находился в высших чинах, был генерал-адъютантом, подполковником лейб-гвардии Семеновского полка, сенатором, членом Государственного совета и кавалером ордена Св. Андрея Первозванного. Цесаревич Павел Петрович, при котором Салтыков состоял с 1773 г., душевно его любил и уважал и со слезами уступил его своим сыновьям. «Признаюсь,— писал он к нему,— что мне расставаться с тобой трудно, в чем хотя и утешен отзывом, что сие не разлука и что ты всегда в сношении с нами останешься... Теперь узнал я, что прямо люблю тебя».

Александр I любил Лагарпа, но к Салтыкову, по-видимому, не питал иных чувств, кроме глубокого уважения.

живых один сын Юрий, который и был моим отцом. Одному из скончавшихся младенцев, сыну их Александру, А. С. Пушкин, 18 мая 1823 г., написал следующую надгробную надпись:

Отрадным ангелом ты с неба к нам явился
И радость райскую принес с собою к нам,
Но житель горних мест, ты миром не прельстился
И снова отлетел в отчизну к небесам[26].

По мнению некоторых, и в том числе Геннади[27], нижеследующее стихотворение написано Пушкиным моей бабушке, княгине Е. А. Голицыной[28], но за верность этого мнения не ручаюсь:

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне;
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой.
Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки...
Довольно в гордости моей
Я буду мыслить с умиленьем:
Я славой был обязан ей,
А может быть, и вдохновеньем!

Бабушка Елена Александровна, урожденная Салтыкова, была высокая, красивая брюнетка; жила она недолго и была несчастлива; двадцати пяти лет она скончалась от горловой чахотки. С горечью покидала она жизнь и со страхом оставляла своего четырехлетнего сына...

Отец мой обожал свою мать и до конца своей жизни высоко чтил ее память. Уже в детстве проявлял он свой пылкий характер: когда няня объявила ему о

кончине его матери, он дал ей пощечину! Бедняжка! Для него это был такой удар, что он захотел отдать тем же тому, кто принес ему такую страшную весть! Он почуял, что трудно ему будет справляться со своей буйной головушкой, со своим горячим сердечком одному, без любящей матери, которая уносила и его счастье с собой в могилу. Когда же через год отец его женился и пожелал, чтобы маленький сын присутствовал при его бракосочетании, то Юрий спрятался в камин в парадном своем наряде, и когда его нашли там, то не было никакой возможности даже силой вытащить его оттуда.

Прабабушка, княгиня Н. Ю. Салтыкова, была замечательно красива[29] и до старости сохранила свою красоту. Одевалась всегда великолепно и, несмотря на свои преклонные года, любила розовый цвет, который не казался слишком молодым для нее, так она сама была хороша и свежа. Когда мать моя вышла замуж и отец мой повез ее представить своей бабушке, она думала, что муж ее шутит и красавица, которой она приседала, не бабушка, а какая-нибудь из его тетушек и даже спросила у нее:

— Et grand' maman n' est pas à la maison?*

— Mais c'est moi qui suis votre grand mère**,— ответила ей бабушка.

У бабушки, Елены Александровны, было три сестры и один брат***.

Все многочисленные родные обожали бедного сиротку «Юрку» (так звали моего отца в семье), все желали иметь его у себя. Княгиня Долгорукова (род-

---

* А бабушки нет дома?

** Да ведь это же я ваша бабушка!

*** Княгиня Екатерина Долгорукова, графиня Софья Шувалова, графиня Мария Потоцкая и князь Алексей Салтыков, по смерти которого Головкинский майорат должен был по указу перейти моему отцу, так как у князя Алексея Салтыкова не было мужского потомства. Отец умер раньше, и майорат наследовал сначала мой брат Евгений, а после его кончины — мой старший сын Юрий[30].

ная его тетка), не имея сына, хотела даже усыновить его и просила дедушку отдать ей отца моего в полное распоряжение, которого она любила и брала в память покойной сестры своей; но дедушка, к сожалению, на это не согласился, и бедный мальчик переходил из одних рук в другие*.

Я говорила о родных со стороны Салтыковых, но были еще родные со стороны Голицыных, которые также любили осиротевшего мальчика и также хотели иметь его у себя. Старшая в семье была прабабушка, княгиня Анна Александровна Голицына, рожденная княжна Грузинская, из рода грузинских царей, знаменитая красавица того времени**[31]. Она была очень достойная, умная и добрая женщина. У нее было три сына и четыре дочери***. Всем им она дала основательное образование и вселила в их сердца горячую любовь к Богу.

Россия ей обязана одним из героев 1812 г., князем П. И. Багратионом, которого она выписала из Грузии; он был ее близкий родственник, очень бедный. После того как князь Багратион прославился, прабабушка, княгиня Анна Александровна Голицына, собрала к себе большое общество родных и знакомых чествовать героя. Когда за обедом провозгласили тост за здоровье князя, то он встал из-за стола и, подойдя к

---

* Мой отец был очень привязан к семейству Долгоруких и всегда с благодарностью и любовью говорил о тетушке своей, княгине Долгоруковой, и муже ее, князе Илье Андреевиче. У них было две дочери: княгиня Екатерина, замужем за князем А.Б. Лобановым-Ростовским, и княжна Мария за князем Михаилом Алексеевичем Голицыным, а во втором браке за графом Остен-Сакеном[32].

** В первом браке она была за Лицыным. Ее письма к князю Голицыну печатались в «Историческом вестнике», в которых она описывает празднества при Екатерине Великой. В семействе князей Куракиных есть ее великолепный портрет, работы madame le Brun, который находится у Е. А. Нарышкиной, рожденной княжны Куракиной[33].

*** Николай (мой дедушка), Александр и Андрей; Елизавета была за князем Куракиным, София за Полторацким, Татияна за Потемкиным и Александра за князем Мещерским[34].

дворецкому прабабушки, стоявшему сзади его кресла, расцеловал его, сказав: «Ему первому я обязан, что пользуюсь всем, что теперь имею, так как он дал мне возможность представиться в дом моей благодетельницы, он первый меня одел и за него с благодарностью пью мой первый бокал!»...

У прабабушки Анны Александровны был один брат, князь Юрий Александрович Грузинский, известный своим буйным характером, красотой и любитель женщин*. У него была единственная дочь Анна Георгиевна, замужем за графом Толстым[35].

III

Юность князя Ю. Н. Голицына.— Его воспитание; пребывание в кадетском корпусе.— Женитьба

Несмотря на горячий нрав и своевольный характер маленького «Юрки», все его любили. Между тем общая любовь родственников погубила его, так как не было ни одного разумного руководителя для умного, пылкого мальчика, и каждый по-своему его учил, каждый по-своему его баловал, каждый по-своему его любил. Этот переход из одних рук в другие начался с младенчества, и число семь было для него роковым числом: ему переменили семь кормилиц, семь нянек, семь гувернеров и, наконец, даже семь учебных заве-

---

*Он был женат на Бахметевой, которую страшно мучал. Он был совершенно дикий человек, по своему нраву и поступкам; под его начальством было несколько разбойничьих шаек, которые занимались грабежами по Волге. Эти случаи дошли до правительства, и для производства следствия был отправлен отец моей матери, Н. Д. Бахметев, тогда бывший еще молодым жандармским офицером; он открыл все злодеяния князя Грузинского и доложил правительству всю правду. Тогда князю Грузинскому был запрещен выезд из его села Лыскова, и он был под присмотром полиции.

С того времени поселилась страшная вражда между Грузинскими и Бахметевыми.

дений. После странствования от одной бабушки к другой, от одной тетушки к третьей и переменив плохое влияние семи гувернеров, его поместили в пансион в Одессу. Окончил же он свое воспитание в Пажеском корпусе, но с грехом пополам, так как там он больше шалил, чем учился. Он сам рассказывал мне, что по выходе оттуда ни на одном языке не умел писать правильно. Впоследствии же он сам себя образовал; имея блистательные способности, он сам изучил немецкий и английский языки.

По правам своего отца, который был в чине полковника, он не мог рассчитывать попасть в Пажеский корпус, но по просьбе его прадеда, графа Юрия Александровича Головкина[36], император Николай I приказал зачислить его кандидатом Пажеского корпуса, и вот при каких обстоятельствах это случилось:

Был во дворце детский костюмированный бал. Отец мой жил тогда у тетки своей, княгини Долгоруковой, которая и была приглашена на этот бал со своими дочерьми и племянником. Отцу моему сделали великолепный костюм испанского пажа, и когда он шел в полонезе со своей кузиной, княжною Марией Долгоруковой, которая также была очень красива, то своей красотой и благородной осанкой обратил внимание государя, который спросил графа Головкина:

— Qui est ce charmant petit page rouge?*

— Sire, c'est mon arrière petit-fils, mais il ne tient qu' à Votre Majesté d'en faire un vert**.

— Avec plaisir, mon chèr comte***,— отвечал государь.

И отец мой записан был кандидатом в Пажеский корпус.

---

* Кто этот прелестный паж в красном мундире?

** Ваше величество! Это мой правнук, но от вашего величества зависит переменить его красный мундир на зеленый.

*** С большим удовольствием, дорогой граф.

Бывши пажом, он много шалил, и до сих пор, говорят, в корпусе сохранились легендарные рассказы о проказах и шалостях «Юрки Голицына». Товарищ его, генерал М. П. Данилов[37], вспоминая о нем, говорил мне:

— Ваш отец был настоящий атлет! Он дрался на рапирах, не надевая ничего, кроме маски, защищая только свое лицо; а когда получал удары противника в грудь или руки, он не обращал на это никакого внимания — кровь лилась, а он продолжал начатый бой, пока не выходил победителем.

Любовь его к музыке и хорошему пению развилась в Пажеском корпусе; там он управлял хором и просил, чтобы ему позволили брать уроки на фортепьянах. В опекунских отчетах и февральском журнале 1838 г. написано следующее: «Капитан Пажеского корпуса Гаттенбергер, попечению которого поручен князь Юрий Николаевич Голицын, сообщил опекунству, что по изъявленному малолетним желанию учиться музыке он договорил учителя по 45 рублей в месяц».

Опекунство признало со своей стороны весьма приличным, чтобы малолетний обучался музыке. Из этих сведений видно, что отец начал изучать музыку с 14 лет; первым учителем его был Бианки, а пению учил его Ломакин, дирижер капеллы графа Шереметева[38].

Из того же опекунского журнала видно, что уже в мае 1838 г. отец, по распоряжению директора Пажеского корпуса, перешел пансионером к штабс-капитану Маллио.

Разбирая старые опекунские отчеты, мне приятно было найти в них желание моего отца, тогда 14-летнего мальчика, наградить свою няню пенсией, которую она получала от моего деда в бытность его опекуном и которую дворянская опека хотела отнять у старухи, находя, что этот расход в ущерб малолетнему,

опека ссылалась на то, что «об этой пенсии князь Николай Борисович Голицын не токмо никакого акта не представил, но и не доводил до сведения дворянской опеки о воле покойной княгини». Тогда дедушка Николай Борисович просил опеку обратиться с вопросом к малолетнему князю Юрию, и он отозвался, что «по привязанности к бывшей няне своей, к которой питает чувство признательности, он почел бы для себя особенным одолжением, если б производство пенсии было ей возобновлено». И после этого пенсия старухе была выдаваема ежегодно в размере 360 руб.

По праздникам или накануне бабушка, княгиня Анна Александровна Голицына, брала к себе отца и всегда сама привозила его домой и отвозила в корпус; часто, бывало, бабушка не подозревала, что проказник ее внук возвращался к ней, уцепившись на запятках кареты, и приходила в ужас, когда, входя в швейцарскую своего дома, на Миллионной, видела перед собой смеющееся личико своего шалуна-внука. Бедной старушке приходилось снова везти его и уже собственноручно передавать корпусному швейцару.

Вот одна из многочисленных проказ моего отца в бытность его пажом: захотелось ему в неотпускной день поехать в оперу; недолго думая, достал себе статское платье, загримировался слегка и отправился в театр. Там, взяв себе билет в одном из первых рядов кресел, он важно уселся. Недалеко от себя он увидел своего директора. Нисколько не смутившись, он продолжал спокойно сидеть, между тем директор заметил отца и стал пристально на него глядеть, узнавая, вероятно, в нем своего кадета. Видя, что дело плохо и что только смелостью города берут, отец сам направился к директору, в первом же антракте, и, представившись ему, сказал:

— Если я не ошибаюсь, ваше превосходительство, у вас находится мой племянник Юрка Голицын? Большой па-а-веса!— отец заикался.

— Да,— отвечал генерал.— Так он ваш племянник? Какое поразительное с вами сходство!..

— Это не-мо-у-дрено,— ответил отец,— мы все Голицыны на-а одно ли-и-цо.

Но, чтобы не подкралось опять сомнение к директору и чтобы крепче скрепить заблуждение, перед последним действием он пошел купить коробку конфет и, передавая ее генералу, просил его потрудиться отдать от него «шалуну», так как, приехав по делам, он боится, что скоро не попадет в корпус навестить племянника. На другой день директор явился в класс с бонбоньеркой в руках и вызвал Голицына. Отец, увидав конфеты, закричал, заикаясь:

— А! В-в-от и мои к-к-онфек-ты и-дут!

Не разобрав или не поняв, что он говорит, директор, отдавая ему конфеты, сказал, что видел его дядюшку, который просил передать ему эту коробку,— на что отец ответил храбро:

— Я, ваше превосходительство, са-а-ам себе дя-а-дя!

Так как отца знали за шалуна и знали любовь его острить, то и тут директор не обратил внимания на это восклицание и остался при убеждении, что он видел его дядю и что Голицыны очень похожи друг на друга.

Однажды, при посещении Пажеского корпуса императором Николаем Павловичем, отец мой был на черной доске, на которой крупными буквами написано было: «за леность, грубость и глупость». Государь, взглянув на доску, пристыдил виновного, но тот ответил, не конфузясь:

— В первом и во втором виноват, ваше величество, но в последнем никогда!

Государь, которому, вероятно, понравился смелый ответ мальчика, обратившись к присутствующему начальству корпуса, сказал:

— Сотрите доску! Я за него ручаюсь!

— Ваше императорское величество,— сказал опять отец, вытянувшись в струнку,— как можете Вы ручаться за меня — когда я сам за себя не ручаюсь!

Но нашла коса на камень: и государь, взглянув строго чудным своим взором на храброго, чистосердечного мальчика и обратившись опять к его начальству, сказал:

— Прошу сделать мне из Голицына хорошего человека!

— А ты,— прибавил он, обратившись к отцу,— чтобы был у меня на золотой доске в будущий мой приезд!

Государь победил своенравного, но прямодушного мальчика, и отец обещал своему высокому покровителю исправиться и сдержал слово.

Семнадцати лет он вышел из корпуса, и восемнадцати лет был объявлен женихом, но родители моей матери, не желая и боясь этого брака, отложили свадьбу на год. В продолжение этого года отец навлек на себя много неприятностей и неудовольствий — частью своими юношескими шалостями, частью вследствие необдуманности в своих поступках. Так, например, в один из приездов в свое родовое имение Салтыки[39], войдя в церковь, он увидел пономаря, ругавшегося со старухами и отнимавшего у них свечи, которые они ставили перед образами, а что еще более его рассердило — это то, что свечи пономарь прятал себе в карман. Возмущенный и разгневанный этим зрелищем, он вытащил пономаря за косу на паперть и там отколотил его. Эта история дошла до Харькова, а что еще хуже — она приняла характер святотатства, и отец чуть-чуть не попал за это под суд.

Живши в Харькове, отец мой часто повесничал и прибавлял себе недоброжелателей даже между родственниками своей невесты, которым иногда позволял себе грубить, в виде шутки для себя и серьезной обиды для стариков. Дядя матери, генерал граф Сиверс, не любил, чтобы его целовали в лицо, а «допускал

молодежь к плечу и руке». Отец же усердно чмокал его в обе щеки. Вначале старик граф молчал и, хотя с гримасой, принимал поцелуи, но наконец это надоело ему и он с важностью сказал:

— Je vous prie mon chèr Georges, de baiser mon épaule et ne pas embrasser ma figure*.

— Oh! je suis enchanté de le faire, car je n'aurai pas le désagrément d'être piqué par votre menton, qui n'est pas toujours bien rasé!**— отвечал отец.

Он любил острить и всегда острил очень удачно и умно; но остроты не всегда приятны и, когда затрагивают личности, их не любят. Неудовольствие общества на него росло не по дням, а по часам, и в один неблагоприятный для него день жениху отказали. Но невеста не разделяла взглядов родных и продолжала любить, твердо сказав им, что ни за кого другого не выйдет замуж. Об отце и говорить нечего — там, где были препятствия, ему еще более хотелось дойти до желаемой цели. Видеться им было запрещено.

Когда отец сделался женихом, он нанял себе дом рядом с домом Бахметевых, и только довольно большой сад отделял их; у него была ручная, ученая, белая козочка, которая носила невесте письма, привязанные к шее на голубой ленточке. Когда настало грустное для влюбленных время, в которое им не позволено было видеться, козочка продолжала служить им верную службу, и невеста, гуляя грустная в своем саду, встречала там знакомую белую козочку, которая подбегала к ней, протягивая шейку, а невеста спешила освободить ее от ноши и снимала ожидаемое письмо....

Для того чтобы увидеть невесту свою, он придумал следующее: около дома Бахметевых в саду протекала

---

* Прошу тебя, дорогой Юрий, целовать меня в плечо, а не в лицо.

** Я с удовольствием это исполню, потому что избавлюсь от неприятности быть уколотым вашим подбородком, который иногда плохо бывает выбрит.

река, отец заказал гондолу, оделся в роскошный венецианский костюм и, нарядив несколько человек из своих певчих гондольерами, подплыл к дому Бахметевых и, стоя в гондоле с мандолиной в руках, запел серенаду.... Все вышли посмотреть на небывалое зрелище и на появление в Харькове итальянцев. Невеста же, извещенная, вероятно, заранее белой козочкой о прибытии жениха, первая выбежала и, конечно, единственная не удивилась, узнав в красивом венецианце князя Юрия Голицына. Таким образом цель была достигнута — он увидел свою невесту.

Стойкость моей матери и взаимная любовь победили препятствия, и князь Юрий Николаевич Голицын 16 августа 1843 г. вводил свою прелестную, скромную невесту в Харьковский собор, под пение «Гряди голубица».

Церковь была так полна, что они с трудом подвигались, и кружевное платье, в котором, говорят, была так красива моя мать, очень пострадало.

Молодые после свадьбы оставались несколько недель в Харькове, в кругу многочисленных своих родных, и, конечно, молодежь у них часто собиралась, в том числе и шафера отца, граф Сухтелен и князь Федор Григорьевич Голицын[40], с которыми он иногда играл в карты. Не быв любителем карточной игры, он садился играть просто для препровождения времени, но иногда интересовался игрой и при своем горячем нраве не сдерживал себя. Раз, недовольный ходом графа Сухтелена, он так вспылил, что бросил карты ему в лицо. Мать рассказывала мне, что хотя она в ту минуту не сознавала всей опасности в положении отца, но все-таки страшно испугалась и на подвижном лице ее, вероятно, отпечатался весь испуг... Граф Сухтелен посмотрел на нее... потом собрал всю колоду, привел ее в порядок, положил на средину стола и, повернувшись к моему отцу, сказал очень спокойно, но внятно:

— Ты не дитя, чтобы не понять все последствия, могущие произойти вследствие твоего поступка, но не драться же мне с тобою, в минуту твоего счастья! Мне искать смерти — нет причины, тебя убивать — было бы страшное преступление перед твоей молодой женой. Мы давно знаем хорошо друг друга, ты — сумасшедший, пора тебе остепениться.

Пока граф Сухтелен говорил, отец сидел, опустив глаза и положивши голову на руку. Благородный и сердечный друг отца, кончив говорить, протянул ему свою руку в знак прощенья за обиду. Тогда отец вскочил, бросился графу на шею и зарыдал.

— Прости, прости!— сказал он,— спасибо.... ты мой честный, лучший друг!

Прожив несколько времени в Харькове, молодые уехали в родовое имение, большое торговое село Салтыки Тамбовской губернии Усманского уезда. За несколько верст от Салтыков толпа народа ожидала приезда молодых господ и, увидев их, с восторгом и криками приветствия бежала за ними. Въезжая в Салтыки, отец приказал прямо ехать в церковь, где весь причт в облачении ожидал новобрачных.

После благодарственного молебна молодой барин обратился к народу и, указывая на свою жену, сказал:

— Вот моя жена, а ваша княгиня. Служите ей, как мне, хорошо и верно — она всегда будет к вам добра, будет ваша защитница и помощница в ваших нуждах.

Весь народ был одет по-праздничному. Бургомистр со стариками поднесли на серебряном подносе большой белый сдобный папошник[41], заказанный ими в Воронеже и убранный цветами, а старостиха поднесла полотенце с жамками[42]. Бабы по очереди подходили к матери и, целуя ее по русскому обычаю три раза, приговаривали разные нежные слова, называя ее «касатушка наша, красавица!» и т. п.

Салтыковские крестьяне вывезены были из Владимирской губернии, народ рослый, видный, и бабы отличались красотой; они имели обыкновение румяниться, но впоследствии отец им это запретил, и таким образом обычай этот вывелся.

Молодые супруги приехали в Салтыки в конце сентября, а на Покров Божьей Матери около дома были раскинуты столы, и все крестьяне от мала до велика были позваны обедать. После обеда народ пел, плясал и получал в подарок кто рубашку, кто кушак, бабы — серьги и кокошники, а дети — лакомства.

IV

Жизнь в Салтыках.— Карточная игра.— Новые знакомые и друзья.— Религиозность отца.— Хор певчих.— Духовник моего отца о. Капитон.— Праведная его кончина

В начале своего приезда в Салтыки отец зажил жизнью богатого помещика того времени, с разными затеями и тратами. Как балованный ребенок, отчасти по молодости лет и своей неопытности, он вообразил, что к нему все соседи должны приехать знакомиться и праздновать его приезд[43]; но, конечно, он ошибся: те порядочные люди, с которыми ему полезно было бы познакомиться, не приехали первые и ждали его визита, а вся дрянь уезда, узнавши, что богатый князь-дитя приехал и что можно около него поживиться,— съехались поздравить с приездом «его сиятельство». Были затеяны карточные игры, и отец много проигрывал таким господам, с которых нечего было получить в случае выигрыша. Мать мою очень сердило, что отец весь день проводил за картами, и, несмотря на свою кротость, она высказала громко свое неудовольствие.

— Охота тебе, мой друг,— сказала она,— сидеть весь день за картами и проигрывать!

Тогда любитель выигрышей обратился к матери и сказал:

— Почему же вы думаете, княгиня, что князь не может выиграть? Это зависит от счастья!

— А потому,— ответила она, рассердившись еще более,— что муж мой может проиграть много, имея чем заплатить; в случае же выигрыша — ему нечего будет взять.

Отец мой в ту минуту ничего не сказал, но, когда его партнер уехал, он высказал жене своей, как ему было грустно, что она, такая кроткая и добрая, так жестоко обидела человека. На некоторое время карты были оставлены; конечно, отец никогда ничего не выиграл, а проиграл 29 000 и тем закончил свою игру, так как он не умел и не любил играть; хотя иногда, но очень редко возвращался к ней.

Мать утомилась в подобной компании, и вот они поехали знакомиться с соседями, и в том числе с уважаемым семейством того края, Рахманиновыми, жившими от Салтыков в 25 верстах в селе Знаменском[44]. Аркадий Александрович Рахманинов был прекрасной души человек и великолепный пианист (ученик Фильда[45]). Немудрено, что с первого же визита отец мой сошелся с Рахманиновым, а музыка еще более скрепила их дружбу. Варвара Васильевна, жена его, моя крестная мать, умная, живая, веселая, восторженная, горячо принимающаяся за все доброе и хорошее, по душе пришлась моей матери. Сестра ее, Мария Васильевна Павлова, старая девица, не уступала ей в хороших качествах. Хозяйство, дети, их образование было на ее попечении; она была необходимый человек для семьи своей сестры. Мать их, Анна Михайловна Павлова, урожденная Соковнина, жившая также с ними[46], была очень умная, сердечная и такая богомольная, что почти все время свое посвящала молитве. Все ее звали «Бабушей» и все любили «Бабушу».

Вот в этих трех женщинах мать моя нашла задушевных и верных друзей. Они также были преданные друзья и моего отца; он же всей полной своей душой привязался к семье Рахманиновых, а в особенности был дружен с Варварой Васильевной.

Когда же отец стал постарше и вышел из юношеских лет, он стал заниматься и дополнять свое образование, а главное — пристрастился к музыке и стал серьезно ее изучать*. Поселившись окончательно в деревне, он заботился о нуждах своих крестьян; был хотя строг, но прост с ними в обращении и бывал у них гостем. Не позволял никогда брать у них лишнего рабочего дня, кроме трех дней в неделю[47]. Если же бурмистры, без отца, заставляли лишний день работать крестьян, он, по возвращении, узнав об этом, страшно сердился.

Ни бедные, ни больные никогда не бывали покинуты им или оставлены без помощи. Кто бы ни заболел, отец шел к больному в сопровождении подлекаря, своего же крепостного, и, несмотря на то, что был мнителен, он все-таки бывал у заразно-больных. Кормил он своих людей великолепно; на дворе было три людских: певческая, домашняя и дворовая; со всех людских ежедневно, в 12 часов, приносили обеды на пробу отцу; если чего не хватало, он звал экономку, бурмистра и приказывал, чтобы недостачи не было ни в чем. Некоторые соседи говаривали отцу, что он балует людей, и были этим недовольны, на что отец отвечал им: «Я живу для людей, а не для собак — у меня псарни нет!»

Когда же отец был избран уездным предводителем, а потом губернским, он также заботился о нуждах дворян и о дворянских сиротах; у нас в доме всегда кто-нибудь воспитывался. Кроме того, на свои средства он многих детей, небогатых дворян, воспитывал

---

* Со слов горничной матери моей, Аграфены Ивановны, 72-летней старухи.

в Тамбовском институте и в других учебных заведениях[48] и, дав им воспитание, не покидал на произвол судьбы.

Вот один факт, рассказанный мне очевидцами: сенатором М. Н. Сазоновым и И. А. Сабуровым[49], который показывает, как отец мой умел не только быть добрым, но и внимательным. В бытность свою тамбовским губернским предводителем, отец был в Петербурге, по делам службы, и вспомнил, что в каждом учебном заведении, как то: в Правоведении, в Лицее, в корпусах, в университете, в частных пансионах и т.д. есть дети тамбовских дворян. Ему захотелось всех их собрать к себе, угостить по-русски и повеселить по-княжески. С этой целью он объехал все учебные заведения, был у всех директоров и просил отпустить к нему молодежь из дворян Тамбовской губернии к обеду и на весь вечер. Разрешение было получено, приглашение принято, и вся веселая, юная молодежь собралась к 5 часам в гостиницу «Демут»[50], где ожидал их мой отец и директор Правоведения, генерал Языков[51], который также был из числа приглашенных. В 6 часов был подан великолепный обед, за которым на одном конце стола председательствовал мой отец, а на другом — Языков. Обед прошел оживленно и весело, так как все более или менее были знакомы, все с родной стороны, а в то время, как это было дорого! Расстояния были большие, пути сообщения трудные, все были интерны, за малым исключением, и редко приходилось видеть кого-нибудь из своих тамбовских степей. После обеда были поданы кареты, и вся юная толпа, опять под попечением генерала Языкова и моего отца, отправилась в оперу, где и заняла весь бельэтаж!

Но я немного отступила от жизни в Салтыках; итак, возвращаюсь к ней. Когда отец стал входить в быт и жизнь крестьян, он с ужасом узнал, что редкий крестьянин знает молитвы, а о заповедях почти и понятия не имеют. Сам он был очень религиозен.

Тогда он потребовал, чтобы священники (их было два) выучили не только молодых и детей, но и стариков молитвам и заповедям с объяснением, и строго запретил венчать прежде, чем невеста и жених не будут знать твердо требуемых молитв и заповедей. Началось поголовное учение, а экзамен приходили сдавать к отцу, который не допускал ошибок и отправлял опять к священникам, если нетвердо отвечали. Уехав однажды на продолжительное время из Салтыков, он поручил матери следить за учением крестьян[52]. В то время было двадцать пар, которые готовились к венцу; за обучение их мать моя особенно и принялась: невест взялась учить сама, а женихов поручила священнику. Между мужчинами было довольно грамотных, но между женщинами, кажется, ни одной, и мать немало помучилась с ними, объясняя им молитвы и заповеди, заставляла учить со слов, а все-таки к блистательному результату не пришла. Несмотря на неудовлетворительный результат, она порешила, посоветовавшись со стариком-священником отцом Капитоном, что «довольно мучить женихов и невест и пора их обвенчать! Без князя и так сойдет!» Обвенчали двадцать пар, а князь тут как тут!..

Мать моя, священники и двадцать пар новобрачных взволновались, в ожидании, что скоро последует вопрос князя — «Хорошо ли выучили молитвы?» Так и случилось. Одним из первых вопросов отца было:

— Ну что, женихи и невесты хорошо ли знают молитвы?

Ответ матери последовал нерешительный:

— Знают... и они уж обвенчаны!..

На другой день были позваны новобрачные, и экзамен начался. Оробели молодые, смутились и малое свое знание забыли... Отец, недовольный экзаменом, приказал бабам идти на половину княгини и оставаться там, пока всего не выучат, что́ задано было, а мужиков доучивать оставил у себя, и только тогда обещал отпустить их к женам, когда хорошо будут

отвечать молитвы и заповеди. Через несколько дней экзамен повторился, был выдержан, и довольные молодые парочки ушли по своим домам.

Отец и мать говели всегда вместе, два раза в продолжение Великого поста, и если они были в Салтыках — выписывали из Тамбова отца Нила, который целую неделю жил в имении, ведя с отцом религиозную беседу и исповедуя его чуть не каждый день. Перед причастием отец и мать кланялись народу, прося у всех прощения. Князь всегда со слезами приступал к причастию Святых Тайн, и говорят, что он делал такое впечатление своим искренним чувством, что некоторые, глядя на него, плакали с ним. Он очень любил Псалтырь и часто заставлял одного из своих певчих читать его ему; иногда он слушал лежа, с закрытыми глазами и, казалось, засыпал; тогда певчий переставал читать, но отец не спал и заставлял продолжать чтение.

На Пасхе народ, приложившись к образам и похристосовавшись с причтом, поголовно весь христосовался со своим князем и княгинею, целуя их непременно по три раза[53]. На другой же день почти все село, то есть старшие из каждой семьи, приходили на барский двор, где, если была ясная погода, на раскинутых столах было приготовлено пасхальное угощенье, а если было холодно, то то же самое происходило в комнатах господского дома, и тогда отец ставил меня, трехлетнюю девочку, на стол, и я обходила и христосовалась со всеми бородатыми мужичками, которые ласково и любовно смотрели на меня и опускали в мой фартучек красненькие яички... Отец садился сам за стол, где сидели мужики, а за столом, где были бабы, садилась мать; тут же присутствовало и все духовенство, со своими семьями; приборов ни для кого не полагалось, чтобы не отличаться от крестьян, и горячее ели из чашек, деревянными ложками, а остальное — руками.

На третий день светлого праздника молодые супруги отправлялись в гости к тем мужикам, которые их звали к себе*.

Князь сам был церковным старостой и всегда ходил с колокольчиком по церкви, долго звоня перед теми, которые не желали положить в кошелек, конечно, он это делал только с теми, которые заведомо могли дать, и с теми еще, которые любили выпивать. Однажды у Рахманиновых в церкви, где хозяин также был старостой и также ходил с колокольчиком, у моего отца в кармане ничего не оказалось. Рахманинов, зная его привычку, хотел и с другом сыграть шутку: видя, что он шарит по карманам, досадует и ничего не находит, Аркадий Александрович с торжествующим видом стоял перед ним, звонил и шепотом говорил: «Что, друг, попался!» Но отец недолго задумался и, не найдя денег в карманах, вынул свои великолепные часы с цепочкой и положил в кошелек. После обедни Аркадий Александрович Рахманинов хотел вернуть часы, говоря отцу, что он с ним пошутил, но тот, конечно, назад их не взял, хотя после сам же выкупил их за очень дорогую цену, во всяком случае не меньше, если не больше стоимости часов.

Я иногда также вместе с отцом ходила по церкви с колокольчиком и шла впереди, а он сзади меня.

Чудным своим хором, в церкви, отец всегда управлял сам и даже утрени не просыпал, отправляясь к ней со своими певчими.

Он с детства любил музыку, хотя тогда совсем не знал ее.

Бывши еще мальчиком, убегал он из корпуса к своей бабушке, княгине Голицыной, чтобы послушать

---

*Все эти мелкие подробности пишу со слов бывшей горничной моей матери, Аграфены Ивановны, 73-летней старухи; она была взята в услужение 13-ти лет, а матери было 14 лет, и маленькая Груша выросла со своей госпожой и последовала за ней в Салтыки, где и превратилась, под старость, в уважаемую Аграфену Ивановну.

игру в то время жившей у нее одной очень хорошей музыкантши.

Конечно, он пугал всех своим появлением в неурочный час.

Все упрашивали его возвратиться в корпус, но он соглашался вернуться только тогда, когда ему, по его выбору, девица-музыкантша сыграет любимую его пьесу и когда бабушка пообещает сама отвезти его в корпус.

Мать моя мне рассказывала, что на пятый день после их свадьбы был в Харькове концерт Дрейшока, известного в то время пианиста[54], и отец, вернувшись оттуда в восторге от всего слышанного, сел за фортепиано и до 8 часов утра проиграл по слуху все, что слышал. Когда он женился и поселился в Салтыках, он принялся серьезно изучать теорию музыки и хоровое пение.

Редкие способности и страсть к музыке подвинули его быстро и из любителя сделали серьезного музыканта, до тонкости знающего свое дело. Бывши холостым, он содержал в Харькове свой хор из 30 человек. Потом в Салтыках он составил небольшой хор из женских голосов; еще попозднее он собрал настоящий большой хор из мужских и детских голосов в 150 человек; этот-то хор был известен не только в наших столицах, но и за границей, куда он с ним путешествовал[*55].

---

[*] Вот что напечатано было во Всемирном лексиконе современников, содержащем биографии всех знаменитых людей Франции и других стран, составленном Г. Ваперо.

[*]Голицын (Юрий, князь), русский композитор и администратор; родился в С.-Петербурге 1823 г., принадлежит к очень древнему роду, знаменитые представители которого были: князь Салтыков и князь Михайло Голицын. Отец его, князь Николай Голицын, которому Бетховен посвятил все свои последние произведения, был музыкант и знаменитый виолончелист. Князь Юрий Голицын воспитывался в Пажеском корпусе; по окончании курса, он уехал в Германию доканчивать свое образование. Противно традициям русской аристократии, он предпочел административную карьеру военной и отдался совер-

В Салтыках была выстроена громадная зала в два света с хорами, специально для певчих. Резонанс был такой сильный, что бежишь, бывало, по зале к отцу, на его половину, прощаться или здороваться с ним, а сердце так и замирает, так и кажется, что кто-то гонится, а это эхо моих маленьких шагов разносилось по зале!..

И вот в этой зале отец сам учил каждого мальчика-мужичка, и в этой зале разлетались дивные звуки иногда церковного пения, иногда русские задушевные мотивы, которые он так любил.

Отец первый заинтересовал русскую публику народными песнями, которые так чудно исполнял хор, под его управлением. Он так воодушевлялся при русских звуках, что невольно заставлял публику увлекаться вместе с ним и любить русские песни, заунывные и плясовые — ухарские!

После него были последователи подобных хоров, но кто слышал хор кн. Голицына, тот беспристрастно скажет, что он был выше по стройности, и управляемый его магической палочкой,— он пел как одна душа! Хористы ловили не только движение управля-

---

шенно изучению музыки, которую очень любил. Он устроил в своем доме постоянный квартет из струнных инструментов и капеллу, над усовершенствованием которой он трудился более 17 лет, и из нее впоследствии вышли самые лучшие хористы Европы.

В Германии он сам управлял своими концертами, составленными всегда из его собственной музыки и музыки его соотечественника — Глинки.

Он был в Англии, в Шотландии и в Ирландии, знакомя и заставляя ценить русскую музыку; живя своим талантом, он энергией своей и силой того же таланта преодолевал все препятствия нравственные и материальные. Дирижируя концертами, известными под именем «Princess Golitzin concerts», он сочинил много вещей, между которыми были: 1) обедня на fa, 2) обедня на ut, 3) 18 романсов или баллад, 4) 2 фантазии для оркестра, 5) соло для флейты, корнет-а-пистона и для гобоя, 6) более двадцати пьес для танцев, для хоров, дуэты, трио и, наконец, две методы пения, из которых одна с экзерсисами для хора из 4 голосов. Он начал писать оперу под заглавием: «Эмансипация рабов», которую принужден был оставить. Это были либеральные идеи князя, вызвавшие неудовольствие на него правительства.

ющей ими руки, но даже выражение его глаз, которые у него всегда были зеркалом души.

Крепостной его хор сознательно пел хорошо. Каждый мальчик понимал, что́ поет; они так хорошо знали звуки каждой ноты, что никто из них никогда не ошибался.

Будучи страшно вспыльчив, отец приходил в сильное раздражение на того, кто тревожил его музыкальное ухо фальшивою нотою, но притом он только шумел. Когда же, бывало, за какой-нибудь гадкий проступок он, в пылу негодования, сердился и шумел, мама прибегала усмирять его, и когда он, разгоряченный, не слышал ее, громко повторяла слова: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».

Когда эти слова доходили наконец до слуха отца, он стихал... Иногда рассмеется и поцелует жену свою, если не успел обидеть виновного; если же обидел его, то уходил в свой кабинет, мрачный, недовольный, и там плакал... Если же он увидит, что напрасно сердился, что вина не так велика, то всегда позовет пострадавшего и попросит у него чистосердечно прощения и наградит чем-нибудь. Когда отец пылил, то всегда кто-нибудь бежал за стаканом воды и подавал ему; — это было его приказание, так что иногда с нескольких сторон сбегались с водой, чтобы скорее дать выпить и тем успокоить своего доброго, но вспыльчивого князя.

Рассказывая об отце, я не могу умолчать о человеке, имевшем на него большое влияние,— его духовнике, старшем священнике с. Салтыков, и его праведной кончине. Старик-священник, отец Капитон, отличался прямодушием, строгой жизнью и добрым сердцем, хотя с виду он был мрачный, глядел как-то исподлобья, и разговор его был довольно грубоват. Не стесняясь, он говорил в глаза правду, и за эту-то правду отец мой глубоко уважал его и душевно любил. Он

был строг по отношению к нравственности и упрекал отца за его сердечные увлечения, порицая их.

Когда отец Капитон собрался умирать, отец в Салтыках уже не жил и случайно приехал туда, на несколько дней, как будто для того только, чтобы закрыть глаза своему духовнику и получить его благословение. Я сказала «собрался умирать» — это именно так и было: предчувствуя свою кончину, он сознательно и с полной уверенностью готовился к ней; собрал всех детей, которые, не видя в нем никакой болезни, кроме его старости, недоумевали и с недоверием слушали его предсмертные распоряжения, надеясь, что он ошибается в своих предчувствиях. Первое распоряжение было: заказать себе самый простой, деревянный гроб, ничем не обитый и даже не окрашенный, потом стал распоряжаться обедом для своих гостей, которых звал на свои похороны; заказал даже кутью и вспомнил, кто какую любит: для отца Николая (2-й священник с. Салтыков), который не ел кутьи с медом, велел сделать с сахаром,— больше всего заботился об обеде для нищих и крестьян.

Распорядившись всем по дому, благословив детей, он пожелал непременно видеть моего отца и сказал, чтобы скорее посылали за князем, так как чувствует приближение смерти. Дети его все не верили, удивлялись и говорили между собой: «Что такое делается с отцом нашим?» Но за князем все-таки послали и все приказания и желания старика исполняли. Наконец отец Капитон подозвал к себе сына, тоже священника, велел ему облачиться и его облачить «на смерть», приобщить Святых Тайн и читать отходную...

Когда отец мой приехал — отец Капитон обрадовался и сказал ему: «Что же ты, брат?! Я жду тебя, не могу без тебя умирать, хочу, чтобы ты закрыл мне глаза!..» Пораженный так же, как и дети священника, но так же, как и они, повинуясь старику,— отец мой стал перед ним на колени; тогда отец Капитон велел

выйти всем из комнаты и довольно долго беседовал с отцом, который заливался слезами...

Когда беседа была окончена, отец Капитон постучал своим костылем и, подозвав к себе сына, сказал: «Что же ты не надел на меня скуфью?» И когда сын в том же недоумении, видя отца своего сидящим по обыкновению и говорившим так твердо, надевал ему скуфью — отец Капитон твердо и спокойно сказал: «Ну, теперь кладите меня, дайте крест и Евангелие — я готов...» и с этими словами заснул вечным сном. Отец мой не отходил от праведного старика, положил его и, закрыв ему глаза, проливал горючие слезы по своему духовнику и другу.

V

Жизнь в Петербурге и Москве.— Расточительность отца.— Празднование совершеннолетия князя Юрия.— Мое рождение.— Поездка с отцом в Петербург.— Предводительство в Тамбове.— Провинциальная жизнь.— Конокрад

Вскоре после свадьбы отец повез свою молодую жену в Петербург знакомить и представить всем родным, которые приняли ее ласково и на которых она сделала самое приятное впечатление. Больше всех полюбила ее Татьяна Борисовна Потемкина (родная тетка отца), которая впоследствии помогала ей и словом, и делом.

Скоро визиты надоели отцу, он предпочел веселую компанию артистов и их музыку; поэтому часто отправлял жену одну к кому-нибудь из родственников. По его желанию она должна была ехать в первый раз в приемный день к княгине Долгоруковой (жене князя Василия Андреевича[56]). Мать моя вошла в гости-

ную, конфузясь, и при вопросе княгини Долгоруковой: «Quelle princesse Golitzine êtes vous?»* ответила:

— Je suis la femme de Georges Golitzine**.

Тогда хозяйка пригласила ее сесть, а сама продолжала оживленный разговор со своей гостьей. Разговор длился довольно долго, мать сидела и молчала; потом они встали и пошли рассматривать картины и портреты.

Мать моя все сидела и молчала... Наконец, негодуя за такой прием, она встала и, раскланявшись с нелюбезной хозяйкой, вышла. Оттуда отправилась к своей тетушке, Татьяне Борисовне Потемкиной, и в живых красках, под свежим впечатлением, описала свой визит к княгине Долгоруковой. Татьяна Борисовна недоумевала и не понимала причину, почему мать моя была так нелюбезно принята. Вскоре дело разъяснилось. Татьяна Борисовна отправилась пожурить княгиню Долгорукову за то, что она так неприветливо обошлась с молодой женщиной, вступившей только в их семью; княгиня Долгорукова пришла в отчаяние, узнав, что жену «Юрки» Голицына она приняла так холодно, нелюбезно и воскликнула:

— Если б она сказала мне, что она жена Юрки, а то говорит — je suis la femme de Georges Golitzine!

После этого она загладила свой прием и была всегда добра к моей матери, которая ее полюбила.

Спустя два года молодые супруги поехали в Москву на три месяца. Взяли они с собой большую свиту: двух ливрейных лакеев, камердинера, парикмахера, жокея, обойщика для выбора мебели в Салтыки, регента для выбора голосов, повара-француза, к нему поваренка, горничную и экономку; 16 лошадей, при них три кучера, пять подвод, при них несколько мужиков; также были взяты две кареты, сани тро-

---

* Какого князя Голицына супруга вы?

** Я жена Георгия Голицына.

ичные и одиночные. Все это остановилось в гостинице «Chevalier». Можно себе представить, какие счета представлялись «его сиятельству» за продовольствие и квартиру всей этой компании!

Экономка приходила в ужас от подобных расходов и ходила к моей матери охать и вздыхать о том, что нельзя же кормить людей обедами из гостиницы. Но не скоро жалобы экономки увенчались успехом, а деньги все сыпались да сыпались из кармана молодой неопытной четы. Мать моя не могла много выезжать и больше сидела дома или проводила время у своей двоюродной сестры, Марии Павловны Звегинцевой, рожденной Черепановой[57], отец же много выезжал, очаровывал московских дам и веселился веселостью молодости. Он постоянно окружен был артистами и, пользуясь их музыкой, часто угощал их обедами и ужинами. В то время была в Москве знаменитая певица Альбани[58], которая приезжала петь экзерсисы в залу гостиницы, занимаемой матерью и отцом. На ее концерт отец взял 200 билетов по 5 рублей. В этом концерте мать моя познакомилась с московским обществом и, благодаря его гостеприимству, стала проводить время приятнее. Маскарады были тогда в большой моде, и многие дамы из высшего круга ездили в домино интриговать своих знакомых. Отец, конечно, всегда бывал там. Широкая жизнь скоро расстроила карман. Настало время уезжать из Москвы, и пришлось расплачиваться брильянтами, серебром и даже экипажами. Мать уехала одна; отец должен был выехать вскоре после нее, но у него случилась история с графом С-ъ, кончившаяся дуэлью. Мать ничего об этом не знала, каждый день ждала отца, каждый день ездила к нему навстречу; начала встречать в санях, а кончила на колесах. Наконец, не вытерпев, в мае поехала выручать мужа в Москву, но, не доехав до Козлова, встретила его, больного и расстроенного.

Через два года после женитьбы отец праздновал свое совершеннолетие в Салтыках. Не любивший благую середину, он хотел устроить настоящий пир горой. Накупили разного рода угощения, множество ящиков с винами, пригласили оркестр для танцев, и гостей съехалось многое множество. Так как в провинции обыкновенно бывает, что меньшая часть кавалеров предпочитает дамское общество, то все гости и разделились на дамскую и мужскую компанию. За обед уселись таким же образом и даже в разных комнатах. Не стесненные дамами и строгими взглядами жен, почти все господа мужчины очень повеселели. После обеда некоторые мужья пришли целоваться с женами, но другая компания, не сентиментального свойства, осталась на мужской половине, и вдруг дамы услышали спор, потом крик, потом потасовку, а затем слова князя: «Вон из моего дома». Таковы были нравы тогдашнего провинциального общества!

В 1844 г., 15 сентября, родился в Салтыках мой брат Евгений, а через год — брат Юрий, умерший четырех лет[59].

Отец очень желал иметь дочь и, на радость ему, в 1850 г. появилась я на свет. Он так был обрадован моим рождением, что не хотел даже верить своему счастью. Имя Елена он дал мне в память обожаемой своей матери, и это имя прибавило еще более прелести, в его глазах, новорожденной девочке.

Одним из самых ранних воспоминаний детства была моя поездка с отцом в Петербург. Мама поехала туда определять брата Евгения, а отец оставался с нами в Салтыках. Однажды за обедом он говорит мне: «Леля, мы сейчас с тобой поедем за мамою в Петербург!» Помню, что я попросила взять няню, но отец строго сказал, что я поеду с ним одна и няни не нужно; это было зимой. Одели меня, посадили в возок рядом с отцом, и мы поехали. Помню, как ухаживал

он за мной, как дорогой держал на своих руках, как умывал и одевал меня сам.

Из петербургских воспоминаний у меня осталось в памяти одно: лицо и фигура государя Николая Павловича. Была я раз у детей принца Ольденбургского[60], и во время нашей игры показался в дверях громадного роста красавец-мужчина в военной форме; тут кто-то сказал: «Государь!» Дети все бросились к нему, а я осталась, как прикованная к своему месту, и дальше я ничего не помню...

Отец визиты без меня не делал, заказал мне микроскопические карточки, и так как я была на него похожа, он с гордостью меня показывал.

В начале пятидесятых годов отца с громадными овациями выбрали в тамбовские губернские предводители. Вскоре после этого император Николай пожаловал его званием камергера «не в пример другим».

В Тамбове отец купил дом, и большую часть времени мы жили в нем. В то время губернские города зимою наполнялись помещиками, жившими очень весело.

Раз в неделю у нас танцевали. Мы с сестрой Соней также были допускаемы на эти балы, и я хорошо себя помню в бальном туалете: у меня было белое тарлатановое платье[61] и белые атласные ботинки, а у Сони — такой же туалет, только розовый. Помню отца, танцующего со мной, и себя, поднимающуюся на цыпочки, чтобы достать его руки. Другой кавалер мой был Ал. Ис. Арапов, немного, может быть, ниже моего отца; но, наконец, напрыгавшись вдоволь со своими кавалерами, я, усталая от шума и света, прикладывалась к плечу отца и под бальную музыку засыпала и просыпалась уже наверху, в детской, в ту минуту, когда няня принимала меня из рук отца....

Отец был любим в Тамбове, но с горячим и слишком прямым характером мудрено было не иметь и

врагов. Кроме того, разными выходками, которые другим и в голову не придут, он приобретал себе недоброжелателей. Так, например: в то время дворяне гордились своим сословием, держа себя с достоинством, и панибратства с другими не было, особенно при официальных приемах. Отец не был горд — ни в душе, ни по мыслям,— но всегда сохранял свое достоинство и был настоящим дворянином и князем. Принимая однажды у себя, как губернский предводитель дворянства, по каким-то делам, нескольких купцов и воронежского разбогатевшего откупщика Кр...ва, который, думая, что с богатством он приобрел все на свете, не дождавшись, что князь Голицын протянет ему руку, сам первый подал ему свою,— тогда отец мой живо нашелся: вынул из кармана портмоне и вместо руки своей вложил ему, в протянутую руку, рублевую бумажку. Еще другой случай, где он наказал одного господина, который хотел неправильно стащить с него известную сумму, которую на самом деле он не был должен: г-н Б. считал за моим отцом долг в 1500 руб., отец же не признавал его, но, не желая, чтобы Б. думал, что он жалеет эти 1500 р. и только поэтому не отдает их ему, отец решил послать ему эту сумму, но предварительно выжег все номера кредитных бумажек.

Лето мы проводили в Салтыках, откуда мама ходила иногда пешком в Воронеж на богомолье; ей там очень нравилась местность, и отец для нее купил дачу под названием «Отрада», которая находилась в лесу на берегу реки, и оттуда открывался великолепный вид на Воронеж. Иногда они проводили там лето, хотя жить было и небезопасно: поговаривали о разбойниках, и слышались иногда страшные звуки, свист, и не раз видели подозрительных лиц, но их они не трогали; думали, что оберегал их бывший товарищ разбойников (из крепостных отца), которого мама направила на истинный путь, и не позволял им

тревожить своих господ. Вот история этого мужика: фамилия его была Прусов; многие из крестьян подозревали его в конокрадстве, но до поры до времени ему удавалось скрывать свои похождения. Только раз поймали его на месте преступления и привели к отцу. Он начал допрашивать его лично, но тот не сознавался и нахальным образом уверял и клялся, что он не виноват. Тогда отец велел посадить его на хлеб и на воду, решил забрить его в солдаты, если не сознается, но никакие угрозы на него не подействовали — он продолжал упрямиться. Мать моя каждый день уговаривала его сознаться в своем проступке и, наконец, ей удалось этого закаленного человека привести к истинному раскаянию: он во всем сознался. Тогда отец приказал ему говеть, а мать моя упросила не отдавать его в солдаты, а взять на конюшню убирать ее лошадей, чтобы он всегда был на ее глазах и чтобы она могла чаще его вразумлять и учить добру. Добро всегда трогает человека, и Прусов сделался примерным, трудолюбивым мужиком.

Однажды матери моей куда-то нужно было ехать довольно далеко. Отца дома не было, и кучера все были в разгоне. Она приказала Прусову заложить тройку и поехала с ним, не взяв даже лакея с собой (она любила это делать). В дороге на нее вдруг напал страх, что она едет одна с бывшим конокрадом, и по своей живости сказала ему:

— А что, Прусов, вдруг лошадки мои тебе так понравятся, что захочется их иметь, и ты меня убьешь, свалишь в лесу, а их уведешь!?

Прусов, услыхав эти слова, заплакал.

— Неужели, матушка,— сказал он,— вы думаете, что я могу забыть то, что вы сделали для меня! Ведь по вашей милости я человеком стал, и вы душу спасли.

Какая награда может быть выше подобного ответа!

VI

Кончина императора Николая I и влияние ее на кн. Ю. Н. Голицына.— Поступление в ополчение.— Служба в Крыму.— Упразднение хора певчих.— Жизнь в деревне в немилости

Россия облеклась в траур: не стало императора Николая Павловича! Закрылись его светлые очи.... Перестало биться его благородное, рыцарское сердце....

Ходили слухи в высших сферах, что император, умирая, завещал сыну своему, наследнику престола, освободить крестьян от крепостной зависимости и мир с врагами.... Умы взволновались в ожидании, что-то будет?.. Настало новое царствование, и с ним выступили на сцену новые люди, новые порядки и перемены колоссальные....

Обыкновенно каждое поколение на склоне лет хвалит свое и вспоминает прошедшее с любовью, но тогдашнее общество с каким-то ожесточением отрекалось и бросало все старое, не оставляя даже хорошего из своего былого, жадно хватаясь за все новое.... Были скептики, которые грустно покачивали головой, слыша проклятие новых людей, сыпавшееся на старое время, и надежду их, возлагаемую на новое; они со страхом смотрели, как все быстро, чуть не в карьер и без узды, неслось вперед и вперед...

Я очень живо помню момент, когда в Салтыках получили известие о кончине императора Николая. Слезы матери моей, при чтении эстафеты с печальной вестью, слезы всей прислуги, собравшейся в доме, чтобы лично узнать подробности от «самой княгини»,— все это врезалось в моей памяти. Няня тотчас же подвела меня к киоту с образами, поставила на колени, сама стала около и велела повторять за ней: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего императора Николая, где нет болезни, ни печали, ни



Князь Юрий Николаевич Голицын
(в ополчении)

воздыханий, но жизнь бесконечная». Я тогда не могла еще дать себе отчета, что такое смерть, что значат те слова, которые я повторяла за няней, но все-таки по-своему понимала, что смерть — это что-то страшное!..

«Вчера мы принесли сюда тело нашего покойного государя,— писал отец В. В. Р-вой, из Петропавловской крепости,— и сегодня я уже опять при нем дежурный; желая хотя немного в эту печальную минуту с вами, мой друг, побеседовать, я попросил у коменданта лист бумаги, карандаш и отправился в алтарь — написать вам эти строки. Чтобы дать вам точное понятие о нравственном моем состоянии, я считаю достаточным передать вам только то, что́ я видел в эти сутки и чувствовал; сегодняшняя панихида была для меня совершеннейшая пытка: стоя во время всей службы (т. е. обедни и панихиды) у гроба, в двух шагах против меня стоял император Александр; глубокое горе сына, состояние супруги, печаль всего семейства, великолепная служба, дивное пение — все это вместе до того меня расстроило, что я с трудом мог все время службы выстоять. Тут не только мы — православные были тронуты, но и приезжие принцы (немцы) плакали.

Представьте себе, мой друг, что по окончании службы, в то самое время как государь поклонялся гробу, с верхнего яруса, иконостаса, упал резной ангел и разбился вдребезги; все так испуганы были, что каждый невольно перекрестился. Здесь много странного происходит, но об этом не только писать, но и говорить не хочется. Вечером тоже панихида и те же ощущения, и как на беду мою меня всякий день куда-нибудь пырнут: завтра я дежурный при императрице; послезавтра опять в крепости, а в день погребения — при вдовствующей императрице».

«Все кончено! — писал он в другом письме от 5 марта 1855 г.,— последний долг отдали мы нашему великому государю! Описывать вам, мой друг, не

в состоянии: я двое суток не выезжал из крепости, не ложился спать и даже не раздевался. Сейчас мы отвезли регалии в Зимний дворец, а на завтра меня нарядили в Москву с экстренным поездом — ассистентом при регалиях, но я думаю отказаться, ибо я так простудился вчера, быв в толпе стиснут, у Невских ворот, в продолжение двух часов, что потерял шинель и все время стоял в одном мундире. Я последний был его камергер и последний долг ему последний отдал...»

С кончиною императора Николая отец мой потерял очень много, так как государь любил его еще с Пажеского корпуса, был его покровителем, не забывая правдивого и откровенного «Юрку Голицына».

С восшествием на престол императора Александра II интриги против отца с каждым днем усиливались, и хотя губернатор был переведен из Тамбова, но и отца моего государь не утвердил губернским предводителем дворянства. Самолюбие его было задето, разочарование жизнью было полное, и он стал мечтать о смерти. «Если бы только Богу угодно было,— писал он в одном из писем,— найти меня достойным пред Ним предстать».

— Презираю,— говорил мой отец,— все удачи и пользоваться ими, конечно, не буду,— Бог с ними.

Воспользовавшись тем, что война в Крыму была еще в полном разгаре[62], он поступил в ополчение.— Князь шел на войну с уверенностью, что будет убит, и потому прощание его с семейством и близкими было трогательнее тех, которые шли с надеждою вернуться.

Он потребовал, чтобы его хор, под его личным управлением, пропел своему учителю «Вечную память», что и было исполнено. Очевидцы говорили мне, что подобной панихиды, само собой разумеется без причта и без службы, одно только пение,— по стройности и задушевности никто никогда не слы-

шал, все присутствующие плакали навзрыд, молясь о упокоении души князя Юрия, который стоял еще живой, дирижировал своим хором и молился о том, чтобы Господь принял его душу!.. Этого момента я совершенно не помню; но хорошо помню его в мундире ополченца, стоящего в Салтыковской церкви, на коленях пред царскими вратами во время напутственного молебна; помню также и прощанье с мужиками, которые благословили его образом Святого великомученика Георгия.

Мать моя провожала отца до Харькова, а брата, которому тогда было 10 лет, он взял с собою в Крым. Не знаю, зачем он это сделал; было ли это также желание моей матери, чтобы не оставлять его одного в таком удручающем состоянии души, или это была одна из необдуманных фантазий отца — взять ребенка на поле битвы. Но каково было матери моей расставаться с мужем и сыном!

Одни молитвы к Богу могли утешить душевные ее страдания, и, может быть, они-то и спасли мужа и сына от бедствий войны...

«С большим трудом,— писала моя мать из Харькова В. В. Р-вой,— решилась я написать вам несколько слов, потому что совсем голову теряю. Вчера мы приехали сюда, и сегодня вечером муж мой покидает меня. Можешь себе представить мои страдания и мое горе; но да будет воля Господня, лишь бы Он сохранил его здоровым и успокоил его сердце, для его личного счастья. Не могу описать вам все страдание моего бедного сердца, видя, что он подвергается стольким опасностям и уезжает с горем на душе. Молитесь о нем, молитесь обо мне, молитесь о наших детях. До свидания, всех вас целую. Не забудьте навестить моих детей, если вы можете это сделать».

Из Харькова отец мой направился в Крым, откуда писал Арк. Ад. Р-ву:

«Инкерман, 19 августа 1855 г. Ты, вероятно, cher ami, уже знаешь, что я утвержден состоять при Горчакове по ополчению. К исправлению моих должностей я вновь с 15-го числа формально приступил. Я потому о должности моей отзываюсь во множественном числе, что на самом деле князь на меня взвалил более, нежели я в состоянии исполнить обязанности, а именно, кроме письменной части, на мне лежит попечение и осмотр дружин до и по их вступлении, которые приходят к нам в 78 000-м составе (из коих 23 000 уже на позициях) и рассеяны по Крымскому полуострову. Штат дежурства не составлен, помощника у меня нет, так что хоть караул кричи! Независимо от всего, я должен тебе сказать, что собственные мои дела некрасивы! Верховых лошадей у меня две, и то на одной только можно выезжать в дело, езжалых одна, другая околела. Бричка сломалась, и к довершению у меня гроша денег нет, и Петр, который болел с самого моего приезда, теперь, после 4 августа, так занемог, что я должен был его отправить в Бахчисарай; остался у меня pour tout faire Шельменко*, qui ne sait rien faire et par conséquant c'est moi qui, tout malade, que j'étais, faisait l'affaire de valet de chambre, de cocher et garçon d'écurie; tous ces ennuis, cher ami, me font tout de mauvais sang que je suis devenu insupportable pour tous et sur tout pour ce pauvre** Шельменко, который мне доказывает, что услужливый дурак опаснее врага. Avec tout cela mon chagrin d'être loin de vous tous augmente de plus en plus, et je crois que le plutôt sera le mieux de finir avec

---

* Название, данное отцом моим конторщику малороссу Коротичу — это был тип прежних шутов и балагуров.

** ...который ничего не умеет делать, и я, совсем больной, принужден был взять на себя должность лакея, кучера и конюха; все эти неприятности, милый друг, так портят мне кровь, что я сделался невыносимым для всех и особенно для бедного Шельменко.

cette vie!* Штурма я дождаться не мог и должен был ехать в Главную квартиру.

Вот, скоро я здесь два месяца и только один раз был в настоящем деле — просто обидно! Впрочем, теперь по службе я буду через день ездить в Севастополь, там у меня два других содержатся караула, и 500 человек охотников поступили в артиллерийскую прислугу и действуют молодцами; вчера я был на бастионах и при мне несколько ратников стояли при своих орудиях. Сегодня, однако, ухо мое сильно разболелось от этого страшного шума, так что не знаю, как вперед выносить буду подобного рода испытание. Доктор приказал мне носить повязку, но у меня от этого голова болит, и я ее бросил. Неприятель наш, кажется, не решится на штурм, а готовится опять на 2-недельную бомбардировку; этим он окончательно уничтожит наш гарнизон. Теперь более, нежели надо, и говорят о сдаче добровольно южной части Севастополя, т. е. все бастионы и редуты взорвать и стать на левую часть города в оборонительном положении. На днях был решительный совет, и все мнения и планы посланы на бумаге государю, для его рассмотрения и утверждения,— посмотрим, что-то будет!

Тысячу раз лучше умереть, а Севастополя не отдавать! Это будет позор России! Прощай; душой тебе преданный Юрий».

Брат мой Евгений вернулся здоровым и невредимым, а отец был контужен. Во время коронации императора Александра II он фигурировал в своем камергерском мундире, восхищая всех своим хором; там, в Москве, чуть ли не последнюю «лебединую песнь» пропел его знаменитый крепостной хор. Дела отца приходили в упадок, он не мог содержать хора и с грустью, с болью сердца, задумал расстаться с ним.

---

* Со всем этим горе мое — быть далеко от всех вас — увеличивается все больше и больше, и я думаю, чем скорее покончить с этой жизнью, тем лучше!

Не желая распустить его и мечтая передать свое создание в целости в хорошие руки и достойным слушателям, он через министра двора предложил продать свой хор за 12 тысяч; из этого предложения ничего не вышло, и он должен был распустить его. Между тем государь, прочитав в газете «Nord» статью о том, что правительство сделало большую ошибку, не купив хор кн. Ю. Н. Голицына, тем более что он уступал его за 12 тысяч, тогда как подобный хор несравненно ценнее, пожелал его приобрести и послал к бабушке Потемкиной просить, нельзя ли хор ее племянника выписать в Петербург, но, к сожалению, хор был уже распущен. Вот несколько слов из оборванного письма отца, из которого видно, как любил он своих певчих и как трудно было ему распустить их: «Сегодня я видел Виаля* мельком; он пришел, когда я уже выезжал, и не успел у него спросить, почему он не остался делать картину, которую я ему заказал (хор). Я еще недавно писал Оливье** que maintenant plus que jamais je tiens à avoir mon tableau comme souvenir de ma chapelle***, и для уплаты этой картины я, кажется, рубашку бы продал! Нет-таки, не сделали по-моему, Господи Боже мой! Как не понимать душу артиста, который желает иметь память своего творения, il faut ne pas avoir de coeur pour ne pas me comprendre et ne pas me simpatiser****. Пошлю за Виалом и узнаю, кто это его так скоро спровадил? Не прощу этого никому, даже, кажется, и вам бы, друг мой, не простил это неуместное участие. Прошу Шубину заказать эту картину, j'y tiens absolument*****, докажите дружбу, похлопочите в Тамбове.

* Виаль — художник, живший долго у нас в Салтыках.

** Оливье — француз, учитель брата Евгения.

*** И теперь более, чем когда-либо, я желаю иметь эту картину как воспоминание о моей капелле.

**** Это бессердечно, не понимать меня и не симпатизировать мне.

***** Я этого непременно хочу.

Служебная карьера отца кончилась, и он окончательно предался музыке, которая пригодилась ему как средство к жизни и как утешение. Государь не утвердил его предводителем, а камергерство он постарался сам с себя снять. Отправившись за границу, он в Лондоне познакомился с Герценом и, вернувшись в Россию, завел с ним переписку, но лучше всего, что письмо свое отдал переписать чиновнику из Военного министерства, о чем, конечно, было тогда же донесено кому следует; все же сочинения Герцена отдал переплести одному из придворных переплетчиков, велев сделать переплет революционного цвета, а в середине книги большой золотой герб князей Голицыных. На эти шалости строго посмотрели, и ему запрещен был въезд в столицу и предложено избрать себе город для места жительства. Он избрал г. Козлов, где купил себе дом[63]. После этой опалы отец снял свой портрет в рубашке и халате внакидку и, отправившись в Салтыки, ходил в подобном же костюме.

Помещаю здесь два стихотворения: одно Лермонтова «Я жить хочу», а другое — отца моего «Моление — О Господи! Прости мя!» — оба положенные им на ноты[64].

Романс «Я жить хочу»

Посвящаю себе

Я жить хочу, хочу печали,
Любви и счастию назло!
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело!
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман!
Что́ без страданья жизнь поэта,
И что́ без бури океан?!

«Моление»

О Господи! Прости мя!
Я согрешил перед Тобой,
Я сотворил себе кумир;

Очаровал кумир земной,
В чаду любви забыл весь мир,
И поклонялся я пред ним.
Всем сердцем и душой
Был предан весь ему!..
О Господи! Прости мя!..

Последний этот романс, кажется, в 1868 или 1869 г. был чудно спет Лавровской в первый раз в концерте, данном отцом моим в Дворянском собрании с аккомпанементом оркестра, которым он сам дирижировал[65].

VII

Жизнь в Тамбове.— Разлад в семье.— Письма отца к В. В. Р-вой.— Отъезд наш в пензенскую деревню

Для разъяснения последующих событий я должна вернуться ко времени пребывания моих родителей в Тамбове.

Мать испытывала постоянную тревогу вследствие несдержанности характера моего отца. Она видела, что он постепенно увеличивает лагерь своих недоброжелателей, во главе которых стояло влиятельное лицо, сделавшееся из друга отца моего его врагом; причину вражды я опишу ниже.

Относительно же сердечных увлечений мужа моя мать была покойна и считала его «Иосифом Прекрасным». Но нет тайны, которая не сделалась бы явной,— злые люди открыли ей глаза, и горькие думы запали ей в душу... Несмотря на ее кротость, самолюбие заговорило, и покой семейный был нарушен.

Сама же она была так чиста, что никогда не замечала даже ухаживанья, относившегося к ней; она так обожала своего мужа, что ей в голову не могло прийти даже кокетство, но это не помешало Г** безумно влюбиться в нее. Когда Г** объяснился ей в любви, она, рассердившись на него, попросила не

бывать больше в ее доме. Эта просьба не была им исполнена,— он не прекращал своих посещений. Тогда мать моя приказала людям не принимать его.

Однажды, сидя за работой с одной старушкой, жившей у нас, мать услышала торопливые шаги в своем будуаре... Она испуганно взглянула на дверь, и ее взорам предстал непрошеный гость!.. Воспользовавшись отсутствием мужа и не принятый с парадного подъезда, он явился с черного крыльца. Мать моя, увидав Г**, так испугалась, что у нее работа выпала из рук. Он же дерзко сказал ей:

— Chassez de la chambre, je vous conjure, cette vielle!*

Старушка, поняв, что́ было сказано, хотела было уйти, но мать, удержав ее, поспешно и испуганно сказала: «Сидите!..»

И, обратившись к нахальному гостю, ответила ему:

— C'est vous, monsieur, qui devez quitter ma chambre, à l'instant même! Et si vous n'allez pas le faire — je vais appeler mes gens pour vous chasser!..**

Рассерженный и обиженный, он должен был уйти.

Мать с нетерпением ждала возвращения мужа своего, но не для того, чтобы рассказать ему о нахальстве его друга, а уговорить ехать с ней в Салтыки — встречать там Пасху. Был конец февраля; отец вернулся, и они поехали. Приехав в Салтыки, мать сохранила тайну, но когда разлились реки и не было дорог, она рассказала мужу причину ее желания покинуть Тамбов.

Отец, услышав этот рассказ, страшно разгорячился и в гневе хотел в ту же минуту ехать в город. Но дороги никакой не было, и он должен был отложить свое объяснение до первой возможности. Мать успокоилась, зная, что до просухи и гнев мужа утихнет.

---

* Выгоните из комнаты эту старуху.

** Если вы сейчас же не выйдете из моей комнаты, я позову людей вывести вас!

Так и случилось; когда вернулись они в Тамбов, отцу вся эта история, казавшаяся драмой в Салтыках, предстала в комичном виде, и он начал подсмеиваться в присутствии своего приятеля о неудачной его любви, гордясь своей женой.

Несмотря на проказы и волокитства отца моего, он жену свою любил горячо и ценил ее. На его горе, незадолго до Крымской кампании он увлекся дочерью друзей своих Р-вых[66]. Не таился он от матери той, которую полюбил, так как чувство это, по его словам, было «чисто и непорочно», но оно было тягостно для семьи Р-вых, а еще тяжелее было моей матери, знавшей об этой несчастной любви.

Мать девицы Р-вой, как женщина высокой нравственности, как мать, как друг моих родителей, хотя и верила дочери и знала ее честные правила, но все-таки решила, что лучше князю не бывать у них. Переписку же с ним не прекращала, оставаясь его другом и наставником.

Это увлечение, интриги недоброжелателей, зависть и клевета приводили князя Юрия Николаевича в отчаяние.

— К черту удачи!— говорил он.— Господи, возврати мне прежнюю мою независимость и удаль.

«Итак, любезный друг В...ра В...на,— писал он Р-вой[67] в 1855 г.,— убедясь из вашего письма, что мои письма вы будете читать и не перечитывать другим, я с восторгом целую ваши ручки, и в этом убеждении буду продолжать это письмо.

Сегодня я должен был ехать к Адлербергу с докладной запиской, для передачи государю о настоящем ходе наших выборов, но, получив ваше письмо, карету отпустил, запер дверь на замок и посвятил весь этот день вам. Письмо ваше столько раз перечитывал, что знаю его наизусть.... Нет, друг мой, моя дружба и глубокая привязанность к вам кажется потому восторженной, что вы не предполагаете во мне

возможности любить чисто, прочно и непорочно!.. Испытав себя и убедясь, что для вашего счастья я охотно своим пожертвую, с чистой совестью перед вами предстаю, говорю, повторяю и клянусь: люблю, ужасно люблю вас и всех ваших — чисто, прочно и непорочно!..

Пойду пофантазировать на фортепиано, написал prélude.

9 часов вечера. Я должен, друг мой, передать, что́ у меня на сердце. Дела мои по имению плохи, поправить их, правда, еще можно, но в том духе, в котором я нахожусь, я не чувствую себя на то способным, и тогда, может быть, все это дурно кончится. А потому я искал и почти нашел покупателя на Салтыки, тем более что цену мне дают хорошую. В губернии мне уже ничего не осталось делать, капитал я не возьму, а если и возьму, то жене отдам, она будет жить с детьми в Пензе, а я à la grâce de Dieu*.

Теперь война и не на шутку разыгрывается et on a besoin de la chair à canon, dans ce but peut être je serai bien util à ma belle patrie**.

Здесь я веду странный образ жизни; главное занятие — сижу дома, учу петь Андреева[68] (впоследствии артиста Императорской оперы), я открыл у него три удивительные ноты, так что я с ним серьезно занимаюсь; играю аккорды, разбираю Рейсигера увертюру[69], пью через два часа лекарство, в карты играю, проигрываю довольно порядочно, визитов почти не делаю никому, а кому делаю, с тем поругаюсь; так, например, вчера с Г... — он ужасный лакей! Я так увлекся и надоел вам своей беседой, что не заметил, что уже 11 часов.

Взялся перечитать мое письмо,— какая в нем несвязность. Но вы, мой добрый цензор, верно взыска-

---

* На произвол Божий.

** Нуждаются в пушечном мясе, для этой цели я, может быть, буду еще полезен моей прекрасной родине.

тельны не будете; у меня для вас что́ на уме, то и в письме.

Прощайте, драгоценный друг мой, не смею сказать до свидания, боюсь,— ну как не увижу вас. Je suis sur un volcan d'intrigues dont B...off est le grand meneur, tous les jours aussi je suis à la veille de faire un coup de tête, mais l'exil m'effraye, car alors, adieu pour toujours*. Любовь моя к вам, Бог даст, удержит меня от беды, но я страдаю здесь. Все на меня. Вы и все ваши помолитесь за меня.

Верный друг Georges».

«Располагаешь ли ты, любезный друг,— писал он в то же время Ар. Ал. Р-ву[70],— быть в Петербурге? Если будешь — дай мне знать, и я надеюсь, что ты у меня остановишься; я так грущу и скучаю, что не могу вырваться из этого омута, что каждый день je me fais des mauvaises histoires et par là comme de raison j'augmente le nombre de mes ennemis qui sans cela s'est diablement multiplié depuis que je suis en disgrâce; au fait au diable le service! Faites moi l'amitié, cher ami, de me trouver deux chevaux de selles le plus tôt possible**. Прощай, друг, а может быть, и до свиданья. Приезжай, как буду тебе рад! Юрий».

Спустя некоторое время мой отец писал В. В. Р-вой:

«Всегда испытывать счастье — не есть уже счастье,— а горе остается всегда горем. Вчера я испытал такое разочарование, что через него до сих пор болен, между тем пора бы мне привыкнуть — вариации только другие, а в сущности все одно и то

---

* Против меня сильно интригуют, и главный зачинщик Б... Я также каждый день накануне того дня, в который способен буду сделать скандал, за который сильно пострадаю, но изгнание меня пугает, потому что тогда прощайте навеки.

** Я устраиваю себе истории и ими, конечно, увеличиваю число врагов, которое и без этого чертовски увеличилось с тех пор, как я в опале; а, впрочем, к черту службу! Сделай мне одолжение, милый друг, найди мне двух верховых лошадей как можно скорее.

же — неблагодарность. Человек, правда, скверный, зато Бог велик. Это Он вселил мне безграничную привязанность к вам, и за это я Его благодарю утро и вечер, потому что это чувство заставляет меня забывать и прощать зло, которое тщательно стараются сделать мне. Впрочем, да будет воля Господня! Я сделался бесчувственным ко всему тому, что мои враги могли бы придумать по отношению меня; до того бесчувственным, что мысль о самозащите или мести очень далека от меня; но если б я должен был потерять вашу дружбу, то есть мою веру,— вот тогда-то мои враги имели бы... Не будем говорить об этом. Господь по своему милосердию пожалеет меня и в особенности мою семью; от вас, друг мой, зависит благосостояние моих детей,— любите меня всегда ради их, если не ради меня самого. Все страдает во мне — вера, сердце, душа, разум... вот я уж дошел в этом письме до того, что и продолжать не могу... рана моя еще далеко не зажила. Ваш верный друг Юрий».

«В последние три года,— писал он ей же,— мало ли испытал я измен, неблагодарностей? Сколько за добро платили мне злом! Вы, может быть, скажете, как многие, что я неблагодарен судьбе за мои удачи; но вы, добрый и честный друг мой, не в состоянии постигнуть, как для благородного сердца тягостны эти удачи; вам, благодаря Создателя, не только не приходилось испытать, но даже видеть, к каким иногда средствам прибегают для достижения этих жалких удач. Я лучше вам расскажу, что́ со мною было на днях: мне, князю Голицыну, потомку гордого Гедимина, предложили, для достижения моей цели, обратиться к любовнице любимого здесь сановника! Это меня совершенно убило и показало, как, поднимаясь высоко, низко падаешь!!!

Поймите же, друг мой, что все эти удачи или неудачи — называйте их как хотите — подействова-

ли на мое сердце, как раскаленное железо на тело; раны мои глубоки и неизлечимы... В этом больном состоянии я давно нахожусь... Как же вы хотите, друг мой, чтобы при этой обстановке я бы не оценил постоянное и благородное ваше и Марии Васильевны участие[71], испытанную дружбу вашего мужа ко мне и семейству моему; потом бабуша, братья ваши, Липецк, выборы, музыка и тысяча еще доказательств высокой вашей души так тесно связали мое существование со счастьем вашим и вашего семейства, что клянусь вам в первый и последний раз именем моей покойной матери, если б я убедился, что жизнь моя может быть полезной счастью вашему или кому-либо из ваших, то я сумел бы найти ей конец благородный и достойный! Не думайте, друг мой, что слова эти обман самого себя или увлечение, нет — это следствие рассудка. Судите: во всем разочарован, пользы по чувству убеждения и по положению моему теперь в свете более принести не могу, честолюбие пропало, семейству своему скорее вред приношу, чем пользу, и чтобы при всем этом я бы невольно принес несчастье семейству, которое люблю... О, нет, друг мой, тысячу раз нет!

Требуйте от меня чего хотите — доставьте мне тем счастье исполнить ваше желание; в этом случае силы воли у меня достанет...

В карты даю слово не играть. Салтыки пока еще не продаются, и если продам, то только с вашего согласия, то есть тогда, когда вы, как я, будете убеждены, что продажа эта в пользу моих детей.

Прощайте, друг мой, примите вы и все ваши сердечный и душевный мой привет. Долг мой призывает меня в ряды ополчения! На днях подаю о том просьбу моему государю; спешу, потому что наши дружины тотчас же будут прикомандированы к Южной армии, где каждого из нас ожидает слава или смерть! Друг ваш Юрий».

Вернувшись с Крымской кампании, на душе у отца было не легче, чем перед отъездом его туда; состояние было расстроено, служебная карьера окончательно пропала, отношения с женой надломлены...

Мать моя с разбитым и истерзанным сердцем видела, что сломанное трудно склеить, и решила непоколебимо уехать из Салтыков и удалиться в свое пензенское имение, взяв с собою своих трех девочек, так как сын был уже определен отцом в Морской кадетский корпус.

Отец остался один, без жены, без детей, без службы, с разоренным состоянием, даже без своего создания — без своего хора, с одним горьким сознанием, что, может быть, он сам виноват во всем...

Нервный, чувствительный, он каждый день обливался слезами,— музыка осталась его единственным утешением. И, как корабль без руля, поплыл он, несчастный, по житейским бурям и невзгодам...

Вот что писал он из Москвы В. В. Р-вой, когда остался один:

«Я в таком ужасном состоянии, что, кажется, здесь на всех бы бросился; я чувствую, когда я далеко от Знаменского, я становлюсь хуже и хуже. Друг мой! Друзья мои, не оставляйте меня, поддержите меня — страшно одному жить! Je suis à présent comme un enfant qui craint de rester dans une chambre sombre — c'est une panique de laquelle je ne puis pas me rendre compte!* Так мне здесь грустно, что все к черту отправлю. Концерта я более не дам и, кажется, что хор распущу. Они так здесь хорошо поют, как будто нарочно напоминают мне...

Прощайте, мой друг, исцеляйте больного.... За границу я непременно уеду, и надолго!.. Ваш Юрий».

«Вчера я получил ваше старое письмо,— писал он ей же в другом письме,— но оно до сих пор, мой друг,

---

* Я теперь похож на ребенка, который боится остаться один в темной комнате,— и я не могу отдать себе отчета в этом страхе.

лежит не распечатанное, боюсь его читать. Вы меня, верно, браните, а мое сердце уже и без того страдает! Да, мой друг, страдает, и более, нежели когда-либо. Прежде я уезжал, а теперь я уехал: бросил Салтыки, расстался с детьми, далек от Знаменских — все это далеко не весело, а муж ваш как будто на смех пишет мне «amusez vous»; мудрено при этой обстановке душою быть покойным, и самое главное, что теперь я вижу, что с женой мы навек разлучены...

Умоляю вас, друг мой, как мать, как друга моего и жены моей, упросите вашего мужа этим временем управлять не так Салтыками (т. е. мелочным хозяйством), как долгами по имению[72]; я мешать ему не буду, и доверенность уже готова ему, по силе которой может действовать, как бы я сам. Я состоянием не дорожу, но обязанность отца понуждает подумать сохранить родовое имение. Во всем этом жалок один только я! Не забывайте меня, ради Бога, на коленях умоляю, не разлюбите, я теперь один; представьте, заговариваюсь, мысли собрать не могу. Si votre mari a la cruauté de me refuser ma prière, ma fortune est perdue, car je ne peux pas et ne veux pas la confier à personne d'autres*, сам же заниматься не могу, с ума сойду.

Друг ваш Юрий».

Мать моя, решившись на разлуку с мужем, страдала также и с болью сердца покидала Салтыки, где оставляла любимого человека. Нелегко ей было разлучать своих девочек с отцом (мне, старшей, тогда было пять лет) и увозить их в глушь Пензенской губернии, далеко от родных и друзей! В перспективе у нее были: скудные средства, лишения, одиночество, тоска и непривычный труд!

---

* Если ваш муж будет так жесток отказать моей просьбе, мое состояние пропадет, потому что я не могу поручить его кому-либо другому.

Она покидала свет с его злобами дня, как покидает его женщина-монахиня, посвятившая себя Богу; она отрекалась от света и посвящала себя детям; удалялась к тихой пристани и была тем только счастливее отца, что увозила с собой совесть покойную и чистую.

VIII

Приезд в село Огарево.— Как оно досталось моей матери.— Тетушка София Николаевна Герасимова

Прощанье с отцом, с Салтыками и выезд оттуда я не помню. Из дорожных воспоминаний остались у меня в памяти только громадная четырехместная карета, все лица, сопровождавшие нас, и въезд в село Огарево[73].

Свита наша состояла из няни, старого слуги, Василия Кузьмича (который впоследствии был дядькою брата Евгения), горничной и повара.

Поручены мы были madame de Laveau и няне, которых мы обожали, и они своей заботливостью и любовью в отсутствие матери заменяли нам ее. С нами также ехала сиротка 12-ти лет, Катенька Федорова. Мой отец, бывши предводителем, взял ее к себе; с 8-летнего возраста она осталась круглой сироткой и до приезда к нам очень бедствовала, не имея ни души родных.

Въезд в Огарево хотя и мало представлял интереса, но я помню его хорошо. Было лето. Солнце только всходило. Карета наша грузно, тихо двигалась по пыльной дороге; ямщик задремал под утро, плохие лошаденки приустали, а главная причина тому, что мы тащились, а не ехали, была та, что Василий Кузьмич сам задремал и не покрикивал, как всю дорогу, «пошел» и «пошел». Но вот он проснулся и недовольным голосом закричал:

— Ну, что ты, братец мой, как с кислым молоком едешь! Денежки, небось, взял хорошие, а везти не умеешь! Эх, вы, вольные! То ли дело, по большой дороге, казенные ямщики — любо с ними ехать, небось — не уснешь, а с тобой и сны видишь!

В карете все крепко спали, несмотря на то, что солнце уж ярко светило всем в глаза, и ямщик, после замечания Василия Кузьмича, стал громко посвистывать, покрикивать на форейтора и погонять своих бедных лошадок. Madame de Laveau, прислонившись к подушке, спала; Соня, прижавшись к ней, склонив неловко свою черную, бархатную головку и полуоткрыв свой маленький ротик, также крепко спала; Таня, с румянцем во всю щеку, безмятежно покоилась на коленях у няни, которая, боясь беспокоить свою малютку, неловко, как-то прижавшись одним боком в уголок кареты, бережно держала свое «румяное яблочко», как она называла Таню, и, дремав, кивала во все стороны головой, ежеминутно просыпалась и также скоро засыпала. Я же тогда, хотя и очень была маленькой, пяти лет, но хорошо помню свои впечатления, которые всегда как-то неизгладимо врезывались в моей памяти.

Сидела я у окна и, высунув свою головку, вдыхала свежий утренний воздух, прислушиваясь к разнородному щебетанью птичек и зорко следя за солнцем. Несмотря на ранний возраст, я наслаждалась всем, что́ видела и слышала: и утром, и солнцем, и щебетаньем птичек, и свежим воздухом, который врывался в нашу душную карету.

Солнце поднялось высоко, стало жарко, и радостное щебетанье птичек сменилось несносным жужжанием мух и оводов, влетавших то и дело к нам в карету. Спутники мои не просыпались, пока Василий Кузьмич не закричал нам: «С добрым утром и с приездом! Вот и Огарево виднеется. А вот и верхом, на

избы были у них закопченные дымом, так как все почти были курные[74].

Итак, приехав рано утром, напившись чаю, осмотрев свой маленький домик и отдохнув, мы упросили няню идти с нами гулять. Только что мы показались на улице, как из всех изб начали выбегать ребятишки, и некоторые из них высовывали нам языки, убегая обратно в избы, а другие, кланяясь низко, крестились.

Вернувшись с прогулки, мы, веселые и оживленные, рассказывали madame de Laveau свои впечатления. Детский счастливый возраст всему доволен, в особенности перемене, у него нет еще сожаления о прошлом!.. И мы были веселы и радовались новенькому. В Огареве ожидала нас покойная, счастливая, тихая жизнь, под крылышками заботливой, любящей матери!

Для остальных же окружающих нас Огарево показалось ссылкой после веселых, шумных Салтыков.

Находившееся в Пензенской губернии, Инсарского уезда, село Огарево было родовое имение сестры моей матери, генеральши Софии Николаевны Герасимовой, которое она получила в приданое.

Как я уже говорила выше, дедушка Бахметев нажил своими трудами очень хорошее состояние, и по мере того, как выдавал замуж дочерей, он отделял им и землю. Не успел он сделать то же самое для моей матери и, скончавшись скоропостижно, не отделил ее. Это ужасно мучило бабушку Софию Ивановну, тем более что она видела, как мой отец расстраивал свое состояние. Тогда тетя, София Николаевна, бывши уже вдовой, поспешила успокоить мать свою, отдавши сестре кн. Голицыной одну половину Огарева. Таким образом она успокоила свою мать и дала средства к жизни сестре своей и ее семье. Впоследствии она еще помогла сестре, продав ей свою часть на очень выгодных условиях, а потом и простила оставшийся долг.

Овдовев, она жила не для себя, кому могла — помогала, и живши при монастыре в Хорошеве (18 верст от Харькова)[75] много делала и там добра: призревала и кормила разных бедных старушек и сирот-девушек. Она вся была в Боге!

Господь послал этой преданной ему душе тяжелое испытание: она девять лет пролежала в параличе, а последние четыре года ее жизни была без движения и без языка. Но ум и сердце продолжали работать! Это можно было видеть по слуху, который ей не изменил: когда при ней говорили о том, что́ ее интересовало, она сейчас, бывало, встрепенется; когда же разговор касался чего-либо грустного или ее воспоминаний молодости, она горько плакала. Прислуга ее обращалась с нею в последнее время как с ребенком.

25 октября 1885 г. она кончила жизнь тихо, спокойно, на руках моей матери, которая при болезни не оставляла и часто жила у нее в кельях и насколько могла — заботилась о ней; кельи свои она завещала пожизненно своей сестре; вот когда невольно припоминаются слова схимника Парфения, сказанные моей матери: «Иди тогда, когда сама Матерь Божия поведет тебя за руку». Но заботы о детях отдаляют часто человека от жизни, к которой стремится душа его, и мать моя, похоронив сестру, в монастырь возвращалась только, чтобы поклониться ее могиле.

Коснувшись слегка жизни под старость тетушки Герасимовой, я вспомнила случай из ее молодости.

После кончины мужа своего тетушка Герасимова вызвала его племянника, чтобы передать ему бумаги и вещи покойного. Племянник, молодой, красивый офицер, не замедлил приехать на вызов тетушки, которую уже раньше знал и всегда ею восхищался. Увидав ее красивой еще, молодой вдовой, он влюбился и попросил ее руки. Она ему наотрез отказала и, благословив его образом, дав ему свой портрет, сказала, чтоб он уезжал и не старался бы ее видеть,

белой лошади, кто-то скачет,— должно быть, Андрей Борисович (приказчик) встречает».

Все мы с любопытством тянулись к окошкам и высовывали свои головки.

Madame de Laveau, почти ничего не понимавшая по-русски, несмотря на 30 лет, проведенные в России, и тут, не разобрав, в чем дело, спросила нас:

— Qui a-t-il chers petits enfants?*

— Nous arrivons, nous arrivons, madame, regardez voilà déjà l'église**,— радостно отвечала я ей.

Мы въезжали, наконец, в Огарево. Ямщик и форейтор с гиком и свистом выбивали кнутом последнюю силенку у своего усталого шестерика, чтобы молодецки въехать в село и загладить неудовольствие, вызванное ими у Василия Кузьмича, и заслужить от него на чаек.

Но лихой этот въезд никто не видел,— народ был весь в поле, на работе, а в усадьбе почти никого не было, так как того, что называлось в старину «дворнею или дворовыми», в Огареве не существовало, потому что там никогда помещики не жили. Барской усадьбы также не было. Подъехали мы к маленькому домику, крытому соломой, стоявшему на довольно высокой горе; кругом ни кусточка, ни деревца — одно поле. Недалеко от домика тянулась длинная, прямая улица крестьянских избушек, крытых соломой, а в конце улицы виднелась белая небольшая церковь. Комнаты мне показались крошечными в сравнении с салтыковскими, да они и были маленькие. Вообще село Огарево представляло совершенный контраст с Салтыками: там народ был промышленный, зажиточный и чистый, наружность открытая и народ красивый. Огаревские крестьяне больше походили на дикарей: одеты были плохо, в лаптях и синих рубашках;

---

* Что случилось, дорогие детки?

** Сейчас приедем! Посмотрите, вот и церковь видна.

так как она примет его только тогда, когда чувство его к ней пройдет и он будет женат. Он уехал. Через 30 лет, за три месяца до ее кончины, явился он в Харьков уже генералом и, не зная, где ее найти, отправился узнать о ней у харьковского старожила, бывшего губернатора, двоюродного брата тети графа А. К. Сиверса[76], и объяснил ему причину своего приезда в Харьков. Граф Сиверс, зная о его прежней любви, сказал ему: «Не советую вам видеть бедную сестру, она в страшном положении — разбита параличом. На вас это сделает слишком удручающее впечатление, и вряд ли она узнает вас». Но он, услышав, что она так больна, пожелал еще сильнее ее увидеть и поехал к ней в монастырь.

Можно себе представить, что́ он испытал при виде такого разрушения когда-то красивой, любимой им женщины и как больно сердце его сжалось, когда она, узнав его, расплакалась своим горьким, беспомощным, детским плачем!.. Он, немолодой уже, но красивый еще старик, склонился у ее изголовья на колени и зарыдал... Она потребовала знаками образ, с трудом благословила его, тогда уже в последний раз.

София Николаевна Герасимова всех многочисленных родственников своих любила принимать у себя в кельях, и сама навещала их, но с болезнью своей она была лишена этой отрады. Она очень была уважаема и любима архиереями, пребывавшими в Харькове, во время ее жизни при монастыре, и многие из них уговаривали ее вступить в монашество, для того чтобы принять управление монастырем; но она всегда отклоняла эти советы, так как властвовать она не любила и не умела. Со многими архиереями она была в переписке, в том числе и с Филаретом, архиепископом Черниговским.

«Боголюбивая София Николаевна,— писал он ей в 1858 г.— Господь да хранит тебя своею благодатью. Благодарю за подарок и за молитвы. Укрепляйся в

Господе. Молись, молись усердно; на слабости других не заглядывайся; смотри за собою; первое — труд напрасный и даже вредный, последнее — необходимо для спасения души. Было у меня желание поручить тебе должность по монастырю. Но, подумав много, вижу, что это отяготило бы тебя, особенно по обстоятельствам неблагоприятным даже было бы тяжело. Потому трудись пока над собою. Обучай себя благочестию. Благочестие всего дороже, всего нужнее. Все земное пройдет, надобно будет явиться туда, для отчета земной жизни. Без добрых дел,— там горе! Будем спешить здесь делать возможное добро: то помолимся, то поскорбим о грехах, то разделим скорбь другого, то попостимся, то смиримся пред оскорбившим нас. Курочка по зернышку клюет и бывает сыта, и мы будем клевать по зернышку добра, чтобы не томиться грехом. Будем стараться наполнять время наше то тем, то другим делом благим. Прочь уныние и лень! Жизнь для Господа — и сладость и пища, и слава наша! Благодать и мир да будет с тобою».

IX

Жизнь в Огареве.— Труды и заботы матери о детях.— Добрая память о крепостных людях.— Несколько слов по поводу освобождения крестьян.— Наша гувернантка m-me Laveau

Вскоре в Огарево приехала и мать. Нелегко ей было взяться за трудное дело: вести хозяйство, заботиться о детях и их воспитании, думать и о крестьянских нуждах. Но за все принялась она энергично и с божией помощью, на которую возлагала всю свою надежду, она всему научилась и все поставила на хорошую дорогу. В молитвах, написанных ее рукой, которые я нашла в ее старых молитвенниках, и составленных ею, видно, что́ волновало ее душу и что́ желала она

для своих детей: не просила она у Бога для них никаких благ земных, а просила только чистоту сердца и силу переносить с терпением несчастье, если оно их постигнет. Вставала она с восходом солнца, училась хозяйничать и своею заботливостью и энергией приобретала знание и средства к жизни. Без дела я ее не видела. Если она не хлопотала по хозяйству в поле, то сидела дома за чтением, за перепиской и счетами, за кройкой или за работой.

В Салтыках все для нас выписывалось из лучших магазинов Петербурга и Москвы; мать также одевалась богато и изящно, а в Огареве пришлось ей из старых рубашек отца нашего перешивать белье для детей. Мама́ выучилась даже шить для нас ботинки: распарывала она старые, снимала выкройки и сшивала верх, а подошву отдавала пришивать глухонемому сапожнику. Церковь также украшалась ее руками и заботами; несмотря на скудные средства, Господь помог ей обновить ее почти до основания. Она воспитала и сиротку, которая вышла редкая девушка по душе, а по делам — истинная христианка. Когда Катенька (Федорова) выросла, она сделалась помощницей своей благодетельницы по домашнему хозяйству и по работам. Будучи верной слугой Бога, она много трудилась для храма Божьего, и ни одной вещи нет в огаревской церкви, которая не прошла бы через ее руки. Отрадно было княгине видеть не пропавшие труды и заботы о Катеньке, которая сделалась настоящим членом нашей семьи; все радости и горести она делила с нами, и мать моя называла ее своим «молитвенником». За нами в Огарево еще последовала молодая девушка Наденька К-а, дочь воспитанницы прабабушки Голицыной, у которой было большое семейство, и все Голицыны позаботились о воспитании их, в том числе и мой отец взял Наденьку и поместил ее на свой счет в Тамбовский институт; по окончании курса она приехала погостить в Огарево и осталась у нас, при-

вязавшись всей душой к «своей княгине», как звала она ее, а чаще называла ее «моя барыня». Иногда матери приходилось засиживаться до восхода солнца, занимаясь перепиской или счетами по имению, и Наденька, из любви к ней, не оставляла ее одну и, сидя где-нибудь около нее или в уютном уголке кабинета, около камина, пока не засыпала, ворчала на «свою барыню», называя ее «полуночницей». Она была веселая и добрая девушка; много придавала жизни огаревскому уединению, весь день распевая народные песни и разные романсы, которые я скоро изучила, и когда Наденька запевала, уж я непременно присоединялась к ней.

Мать приехала в Огарево ночью, и услышала ее приезд одна няня, так как она долго всегда молилась. Поторопившись встретить княгиню, она выбежала раздетая, сильно простудилась, схватила чахотку и недолго после этого пожила с нами... А чудная была женщина наша няня! Такой преданности и таких высоких чувств трудно найти теперь между прислугой. В Салтыках люди хотя и крепостные, но все были на жалованье (это не у всех помещиков было). Средства у отца моего были хорошие, и жалованье, по тогдашнему времени, все получали большое. Когда же мы переехали в Огарево, люди увидели, что средства стали не те, что мать сократила во всем свои расходы, и няня первая пришла просить княгиню, чтобы она убавила ей жалованье! Ее примеру последовала прочая прислуга, бескорыстная и истинно преданная семейству.

Честность между крепостными людьми бывала идеальная.

Говоря о доблестях крепостных людей, я не защищаю крепостного права и горячо сочувствую освобождению крестьян. Но, вспоминая шестидесятые года и искаженную свободу, которая тогда облетела всю Россию, сделав много вреда во всех слоях обще-

ства,— нельзя не возмутиться и не удивиться легкомыслию, царившему тогда во всех слоях общества.

Царь-Освободитель, побуждаемый своим добрым сердцем, хотел сделать счастливыми всех своих подданных, дал личную свободу 20 миллионам русских людей, открыл широкую дорогу всем к образованию, облегчил участь нравственно несчастных, даровав гласный суд,— но чем заплатили ему подданные? Что сделали они из всего дарованного, истинного для них добра?.. Свобода исказилась в русских умах, и в этом искаженном виде она облетела всю Россию, побывав везде, начиная с великосветских салонов и до убогой хижины простолюдина, и кто́ обезумел от нее, а кто́ опьянел!.. Зло же со своими сотрудниками воспользовалось этим бессознательным состоянием общества и не зевало, а работало в свою пользу. Сотрудники зла начали проклинать старые порядки и старых людей, а высшее сословие, испугавшись проклятий, стало отказываться чуть не от своего рода — своих имен и заиграло словом «свобода», как маленький ребенок играет игрушкой, ломая и коверкая ее. Дворянство, как легкомысленная бабочка, летело к этому ярко горевшему слову и спалило все свои красивые золотые крылья!.. Кто из легкомыслия, кто из подражания, кто из страха прослыть отсталыми — меняли и старые предания, старые привычки и старые порядки.

Началось со слития сословий, с пожатия рук купцам и кулакам, а там и панибратство с ними.

В семьи свои внесли свободу, начиная с того, что требовали от детей не почтительной любви, а любви товарищеской, и приказывали детям из личного местоимения «вы» переходить на «ты», тогда как другой приказ был отдан детям — говорить прислуге «вы». Хотя это пустяки, достойные смеха, но ведь говорят: «Москва сгорела от копеечной свечи».

Старая прислуга недоумевала от подобной перемены и негодовала, когда слышала детей, говорящих

родителям «ты», и обижалась, когда господа говорили ей «вы»; молодая же вообразила, что господа теперь уж «не смеют» говорить им «ты». Детям в обыденной жизни препятствий на дороге было мало: читать могли чтó угодно, слушать разговоры взрослых — какие угодно, и родители при них не стеснялись,— ведь они также были уже «полуграждане» и вместе судили, рядили все и всех, а прежде всего начальство.

Товарищей не родители выбирали, а дети приводили из гимназий, кого им угодно. Дальше, родители стали снисходительно смотреть на шалости своих юношей, снисходительно смотреть на непочтительность к старшим, на неисполнение служебных обязанностей, находя даже, что служба царю и отечеству — старая сказка и что гораздо лучше и нормальнее жить на свободе, в деревне, приглядываться к хозяйству, а молодежь, под видом хозяйства, гоняла собак и бездельничала.

Общество еще более обрадовалось слову «свобода» и с распростертыми объятиями приняло его. Оно стало снисходительно смотреть на безнравственные поступки своих членов, которые перестали краснеть, скрывать свои пороки и прятать грехи, находя, что гораздо благороднее и честнее показывать себя во всей наготе.

Как не сказать после этого, что общество в 60-х годах, с появлением свободы, обезумело!? Начальство подчиненных своих превратило в товарищей. Жены священников не оставили также слова «свобода» без применения его к себе, и главной целью их сделалось опустошать карманы мужей на шляпы, туалеты и т. п.

Дочери священников, сменив красивые голубые и розовые платочки на безобразные провинциальные карикатурные шляпы, якобы модные, стали гнушаться своего сословия и мечтали выйти замуж не за священника, а за «офицера». Сыновья священни-

ков стали стремиться в университет, а там — лекции на голодный желудок и возвращение не в скромный, теплый уголок отцовского сельского домика, оставленного далеко за собою, а в сырость, грязь и холод общей студенческой квартиры, таких же горемык, как и они.

Но, конечно, весь труд такой жизни мог бы быть без ропота переносим, если бы молодежь шла учиться из любви к науке, из желания помочь родителям; но все эти силы выбивались из своей колеи, шли не по своей дороге, лишь бы не быть тем, чем они есть, и, возбуждая свое ненормальное желание, гнались за воздушными замками. Но замки исчезали, и молодежь эта, не имея в себе нравственной силы бороться со всеми трудностями жизни, не имея веры и высокого чувства христианского — смирения и терпения, ожесточалась на все встречающиеся невзгоды, сворачивала в окольные пути и стала задумывать, как бы силой отнять то, чего Бог ей не дал... И тогда многие несчастные, вышедшие из своей колеи, присоединялись к сообщникам страшного замысла против родной страны, против своего Царя, Царя-милостивого, Царя-Освободителя!

Свобода же в руках мужика привела его к нищете и преждевременной могиле; свобода, в его понятиях, не допускающая старшинства в семье, привела к разделам, к кабакам и к смерти от опоя...

От этих строк перейду опять к воспоминаниям своего детства и скажу несколько слов о своей гувернантке.

Madame de Laveau, как главной помощнице моей матери в воспитании и образовании ее дочерей, я посвящаю несколько строк, для описания хотя оригинальной, но в высшей степени образованной, доброй и хорошей гувернантки. Она всегда жила в богатых и аристократических семьях, но часто оставляла эти

места и шла на менее удобные для нее, если знала, что там она нужнее.

Несмотря на уважение, которым она пользовалась, она не могла не поражать и не удивлять своею оригинальностью. Была она очень некрасива: маленького роста, белокурая и немного горбатенькая. В Россию она приехала очень молодой, приобрела себе капитал в пять тысяч и сорока лет вышла замуж в Москве, за молодого француза m-r de Laveau*.

Но m-r de Laveau предпочел, вернувшись из церкви после свадьбы, уехать в Париж. Это случилось следующим образом: получил он депешу, требующую немедленного его приезда в Париж, и с деньгами... Он объяснил свое горестное положение жене, она растрогалась, отдала ему все деньги, и он уехал, чтоб не возвращаться! Бедная вдова от живого мужа жила все надеждой, была с ним в переписке, все ждала его и, чтобы не стареть и не дурнеть, придумывала разные средства для сохранения своей небывалой красоты. Пила одно молоко, ложилась на стол выпрямлять горб, спала в шляпе под вуалью и ходила постоянно в перчатках; прыгала каждый день 100 раз через веревочку, а летом купалась три раза в день, до глубокой осени. Вставала аккуратно в 7 часов утра, ложилась в 9 вечера и, в какую бы то ни было погоду, ходила гулять. Красоты она не приобрела, но зато в здоровье и бодрости могла состязаться с молодыми. С нами она была замечательно добра и любила нас как своих детей, называя: «mes petits enfants». Несмотря на свои годы, вне класса, она превращалась в товарища: играла, бегала с нами. В классе же у нее был примерный порядок. Она аккуратно приходила сама будить нас в 7 часов, приговаривая обычные фразы: «reveillez-vous, mes petits enfants»**; подходя

* M-r Leconte de Laveau был известный писатель, постоянный сотрудник «Revue desdeux mondes» и долго жил в Москве.

** Просыпайтесь, деточки.

то к одной, то к другой, говорила: «reveille-toi, belle endormie»*. Всегда присутствовала при одевании и не позволяла нам разговаривать, а еще менее ворчать на горничных. Она была очень добра и ласкова с прислугой, называя каждого «друг мой». Русский язык ей не давался, но она об этом не сокрушалась, хотя училась читать по-русски, я думаю, больше в угоду мама́; учителем ее был наш старый лакей Василий Кузьмич, мы, девочки, помирали со смеху, слушая эти уроки. Когда мне было 13 лет, m-me de Laveau получила письмо из Парижа, в котором ее извещали о смерти ее супруга. Очень ее это огорчило, плакала она много, и мы с нею плакали. Видя мои слезы, которые ее тронули, она сказала мне: «Tu as raison de pleurer, ma chère Loloucha, m-r Laveau a été bien beau!»**

На что мне была красота m-r de Laveau? Я плакала о том, что мадам de Laveau собиралась ехать в Париж, на могилу мужа. Она сшила себе платье с трэном и плерезами, надела вдовий чепец и собралась в Париж. Для нас проводы m-me de Laveau были таким горем, что я целую неделю не могла обедать за общим столом: как увижу пустое место ее, так и расплачусь! И на самом деле потеря была большая: такой гувернантки, как она, мы больше не имели. Поездка ее в Париж окончилась печально; оказалось, что ее там не хотели даже признать за m-me de Laveau, так как муж ее был женат в Париже, а она венчалась в Москве, и только в церкви, а у французов гражданский брак необходим. В Париже пробыла она три года, наградила слуг мужа, часто посещала могилу его, где иногда встречалась с другою m-me de Laveau и с взрослою ее дочерью. Привыкнув к России, где у нее было много друзей, она вернулась

---

* Проснись, спящая красавица.

**Ты права, что плачешь. Mr. de Laveau был замечательно красив!

на свою вторую родину, где ее все любили, уважали и признавали за m-me de Laveau. У нее в то время было нажитого капитала 14 т. рублей, которые она поместила Г**, который обанкротился, и она, несчастная, потеряла все, и снова должна была под старость трудиться.

Спустя много лет я встретилась с нею у Р-х. Она заплакала от радости, увидав меня, и сказала: «Ma chère Loloucha! Ne t'étonnes pas de ce que je pleure — j'ai eu tant de malheurs, que je ne puis pleurer que de joie»*, и, сложивши свои старческие руки, сказала: «Mais que la volonté de Dieu soit faite»!** Желание ее все-таки было умереть на родине.

Спустя несколько лет мать моя по пути в Италию встретила m-me de Laveau в Москве совершенно умирающую и почти без средств, неспособной уже зарабатывать даже насущного хлеба, так как ей было 80 лет. Она предложила ей ехать с ней, на что старушка ответила: «Oh! Chère princesse! c'est le bon Dieu qui vous a envoyé vers moi!»***,— и они поехали во Флоренцию.

Теплое солнце и итальянский живительный воздух воскресили m-me de Laveau. Там, узнав о стесненном положении одной из своих бывших воспитанниц, имевшей большую семью, она поспешила послать ей последние трудовые свои — тысячу рублей, а остальные свои деньги вложила в общину призрения в Chambéry, куда и отправилась кончать свою трудовую, честную жизнь. Но недовольна она была порядками во Франции и республиканским правлением и мечтала вернуться в Россию, все ждала меня, что я приеду за ней и увезу ее. С грустью думаю о том, что не суждено мне было исполнить желание дорогой

---

* Дорогая Лелюша! Не удивляйся, что я плачу, я испытала столько несчастий, что плакать могу теперь только от радости.

** Но да будет воля Божия!

*** Дорогая княгиня! Это Господь послал вас!

моей наставницы. Скончалась она 93-х лет, в памяти и безболезненно; в день ее кончины я получила от нее письмо, в котором писала мне, что ждет меня!..

X

Учитель музыки Мадвейс.— Красавица англичанка и ее мнимый кузен.— Праздники в Огареве.— Святки, капитан Тетерев.— Гадания, елка.— Пасха.— Чуркина барыня

Метель в полном разгаре, ветер так и завывает свою грустную песню... Но нам, детям, не холодно, не скучно, и мы сидим у камина в четырехаршинной комнатке, около любящей нас матери! Слышим шум в передней и незнакомый голос... входит человек и докладывает, что приехал какой-то господин и ужасно бранится. Мама идет сама узнать, в чем дело, мы также за ней побежали и, остановившись в дверях, услышали ломаный французский язык и объяснение, что он Madveiss: «Perdu, retrouvé et envoyé par le prince Goerges»[77]. За чаем он рассказал нам историю своего исчезновения из кареты. Отец, заснувши крепко, так придавил его, что ему очень неудобно было сидеть, и когда ехали лесом, шагом, он выскочил из кареты, расправить свои уставшие члены, но кучер, не заметив этого, погнал лошадей, и он остался в лесу; не зная, куда ему идти дальше, он решил возвратиться назад. Уставши идти пешком по песку, он рад был увидеть обоз, приближающийся к нему, и, желая сказать мужикам несколько любезных слов, он начал говорить им: «Эта река широка, как Ока; как, как Ока? Так, как Ока!» Мужики расхохотались, принимая его, вероятно, за дурачка, а он, видя их веселое расположение духа, пустился с ними в разговор и умильным тоном заговорил по-русски, думая, что одна из фраз его русского репертуара попадет

на просьбу довезти его. Но, о ужас! Оказалось, что репертуар его состоял из одних бранных слов! Мужики, прежде хохотавшие, рассердились и чуть не прибили его.

Его преподаватель русского языка был мой отец; он не забыл свои шалости юности и потешался над немцем, заставляя его говорить на разные нежные тоны — бранные слова!

Услыхав рассказ Madveiss'а, мама́, конечно, догадалась, почему он, войдя к нам, встретил лакея такими комплиментами. Но Madveiss хотел уверить мама́, что теперь князь переменил ему репертуар русских слов и он может без страха говорить что-нибудь любезное. Мама́ же, из страха услышать его репертуар, поспешила его разочаровать и уверить, что проказник ее муж, любивший посмеяться, повторил с ним ту же шутку и что в Огареве он должен забыть свой русский язык. Madveiss оказался милейшим человеком, серьезным и великолепным музыкантом. Он исключительно играл классическую музыку: Баха, Моцарта, Бетховена, Генделя и т. п. С раннего детства слушая классиков, я полюбила эту музыку, и только она может на меня сделать сильное впечатление. Сам Madveiss очень не дурно сочинял. Таня, тогда еще не начинала учиться, но когда он играл, она часто приходила его пугать, изображая из себя «волка», крадучись к нему, она завывала: «у-у-у!» Он написал для нее пьеску под заглавием: «Tanischka est loup». Madveiss побыл у нас недолго, кажется, с год. Впоследствии я часто жалела о кратком его пребывании; так как мы все имели хорошие способности к музыке, он мог бы сделать из нас пианисток. Мама́ познакомилась с одним из своих родственников, А. Я. Потемкиным[78], который воспитывал у себя двух племянниц. Приехав раз к нам, он пришел в такой восторг от Madveiss'а, пристал к мама́, чтобы она ему уступила его, уверил, что мы еще малы для такого учителя, а племянницы очень нуждаются в хорошем преподава-

теле музыки; обещался ему прибавить 200 р., и мама́ по своему великодушию уступила Madveiss'а.

С отъездом его у нас никого не было, кто играл бы на фортепиано, а зал манил нас танцевать, тогда мама́ с m-me de Laveau играли нам на гребешках, и под эту музыку мы танцевали. Большое удовольствие для нас было, когда приезжал настройщик, тогда бал бывал в полном разгаре, и по тогдашним нашим понятиям с настоящей музыкой. Впрочем, недолго оставались мы без преподавательницы музыки. Мама́ пригласила к нам 18-летнюю очень красивую англичанку (по матери русскую), хорошую музыкантшу со спокойным и симпатичным характером. Но гувернантки с романами нас не покидали. Проживши несколько месяцев, miss J*** попросила позволения у мама́ принять своего двоюродного брата, на что, конечно, получила разрешение. Раз, за уроком, девушка подает ей записочку, прочитав ее, miss вся изменилась в лице и выскочила из классной, мы за нею. Оказалось, что ее кузен приехал и просит позволения явиться в дом. За ним послали, и она представила его: «Мой кузен Н.Н. Чернопятов». Уроки шли своим порядком, несмотря на то, что мама́ предлагала ей оставить их на время визита кузена, но она, как очень исполнительная, не захотела этого. Когда она бывала занята с нами, он громко читал мама́ «Чужое имя», роман соч. Ахшарумова, который печатался в «Русском вестнике»[79]. M-me de Laveau не верила, что Чернопятов — кузен miss J***, и хотела уверить в том же и мама́, но она, по своей душевной чистоте, даже сердилась на m-me de Laveau за подобное подозрение. После отъезда кузена недолго и miss оставалась у нас. M-me de Laveau была права. Оказалось, что г-н Чернопятов был мнимый кузен и был никто другой, как жених нашей красивой англичанки, и под чужим именем — настоящее его имя было Д-в. Странное стечение обстоятельств! Читать роман «Чужое имя» в том доме,

где сам был под чужим именем. Разыграли они этот роман у нас, потому что родные его не позволяли жениться на ней, и он скрывал, что ездил ее навещать.

Накануне именин мама́ мы праздновали и проводили весь день у нашего законоучителя, отца Александра; это был день его ангела.

Мы очень любили и уважали нашего батюшку, он был прекрасный священник и отличной души человек. В год нашего приезда в Огарево он овдовел, и у него остались на руках две маленькие девочки и сын. Мама́ приняла большое участие в его горе. Девочки его приходили к нам учиться, и праздники проводили с нами, играя в «волки» с таким же увлечением, как и мы. В гостях у батюшки мы играли в разные игры, весь день грызли орехи, кушали карамели и пряники, которыми нас угощали, и как все это казалось тогда вкусным! В семь часов мама́ присылала наши любимые сани-розвальни, и мы всей компанией ехали домой. Там нас ждал освещенный дом, убранный к празднику, накрытый стол с образами, зажженные лампадки и мама́, одетая по-праздничному. Все становились по местам, и всенощная начиналась. Какое-то радостное чувство охватывало меня при мысли, что завтра — день ангела дорогой мама́, а в особенности радостно бывало на душе, когда был приготовлен какой-нибудь хороший сюрприз; Катенька была мастерица их делать. Батюшка служил очень торжественно и хорошо.

Обыкновенно бывало, что во время всенощной в передней слышался шум, Евграф пробегал через залу, и мы уж знали наверное, что кто-нибудь приехал из наших друзей. И вслед за этим из дверей или выглядывала красивая белокурая головка Веры Юрловой, или с нею вместе потихоньку входили в зало кузины наши Потемкины, и мы все, приветствуя друг друга взглядами, не сходили со своих мест, а продолжали молиться! После всенощной все подходили к мама́ по-

здравить ее с наступающим праздником, а потом уже раздавались наши поцелуи с друзьями.

Святки мы проводили очень весело; несмотря на то, что у нас ни гостей, ни кавалеров не было, но мы умели веселиться одни. Всю неделю наряжались и плясали. Я была мастерица придумывать и устраивать разные костюмы, и все отплясывали под звуки гармонии до упада.

Одно время у нас была гувернантка, очень высокая и любившая наряжаться мужчиною, но мужского костюма по ее росту не оказалось, и мама́ взялась скроить ей его по ее мерке; разложила выкройки на столе в зале и занялась кройкой. Вдруг дверь отворилась, и появился на пороге какой-то господин в военном мундире. Мама́ испугалась при виде мужчины (от них огаревские жительницы отвыкли), застающего ее за такой нескромной работой, и, не узнавши незваного гостя, замахала руками и закричала: «Уходите, уходите!» Господин этот был становой Несмелов, носящий удачно свою фамилию. Он так испугался и сконфузился, что, закрыв за собою поспешно дверь, хотел ретироваться, но наши барышни, увидя кавалера, хотя и жалкого, но все же кавалера, упавшего как с неба, поспешили убрать со стола нескромные принадлежности туалета и попросили войти г-на Несмелова.

Любили мы наряжаться в героинь гоголевских, Фонвизина и т. п. и, являясь к мама́, представляли разные сцены, изображая Коробочку, Пульхерию Ивановну, Митрофанушку и т. п. Иногда наряжали горничных и предварительно учили их тем ролям, в которых они должны были явиться к княгине. Только приехал раз вечером какой-то капитан Тетерев с женой. Евграф пришел доложить. Мама́, привыкшая к нашим шуткам, была в полной уверенности, что это кто-нибудь из ряженых. Входит капитан с супругою и, подходя к мама́, говорит: «Позвольте, ваше сия-

тельство, представиться, я — капитан Тетерев, человек бедный, слышав так много о вашей доброте» и т. д... Мама́, уверенная, что это ряженые, смотрит во все глаза и, не вставая с дивана, рассматривает капитана кругом, стараясь в нем узнать кого-нибудь из своих, и говорит: «Да кто же это? Матреша, Агаша?» Мы в ужасе делаем мама́ знаки, но она их не замечает и продолжает стараться кого-нибудь узнать, говоря: «Нет, не узнаю!» Капитан Тетерев в недоумении отвечает: «Я — капитан Тетерев, человек больной»... Мы продолжаем делать знаки, а мама́ продолжает разговор как с ряжеными: «Как мне вас жаль! Что́ же у вас болит? И какая у вас странная фамилия.... Да кто же это наконец? Груша?» Хохот душил нас, и мы уже закричали: «Mais, maman, ce sont de vrais personnages c'est un vrai capitaine!»*

Есть ли одна русская деревенская барышня, которая не гадала бы!?.. Я думаю, такой не найдется. Да и как не увлечься русскими преданиями, не вспомнить, как в старину боярышни гадали. Все располагает и манит в тихий, светлый, морозный зимний вечер выйти на двор, пробежать по скрипучему снегу к воротам, бросить башмачок, лечь на белый снег, взять его в руку и бежать опять в дом, чтобы посмотреть, нет ли волоса в растаянном снеге и какого он цвета? Так и мы, когда сделались девицами и когда в голову стали закрадываться мысли о неведомом суженом, то все эти гаданья заинтересовали нас. Приносили также петуха, певали подблюдные песни[80]; тогда еще оставшиеся из крепостных горничные все это знали до тонкости; пели нам песни; каждая своей любимой княжне мостила мостики и клала королей под подушку, а на другой день, улыбаясь, осведомлялась, что́ видела княжна, кто́ через мостик ее переводил?[81]

---

* Мама́! Это настоящий капитан.

Когда к нам во время Святок съезжались несколько барышень и молодых людей, нам подавали несколько розвальней (они остались наши любимые сани), и, усевшись в них, отправлялись в село подслушивать под окна и спрашивать имена прохожих, которые бывали редки, так как деревенский люд рано отправлялся на отдых, и одни собаки, перепуганные и недовольные нашим появлением не в урочный час, лаяли, бросаясь издали на нас... Конечно, не вера в гаданье увлекала нас, а увлекала молодость, жаждущая веселья и хватающаяся за все, лишь бы повеселиться и оживленнее провести время. Чем молодость не тешится!

При слове елка возвращаюсь к детству и к маленькому домику с соломенной крышей.

В день, когда должна быть елка, нас всегда отправляли к батюшке, чтобы мы не видели все заготовленные сюрпризы. Какая радость охватывала нас, когда за нами присылали! Мы знали, что все готово, все горит огнями и подарки нас ждут! Подъезжая к дому, в окна уже видны были мелькающие огоньки... Мама́ нас встречала сияющая, и мы не знали, куда нам бежать, когда растворялись двери,— целовать ли дорогую мамочку, бежать ли искать подарки или остановиться, любоваться на чудную елку?!. Увидя три домика для кукол, нашему восторгу не было конца! Они также были освещены, как и наш домик, там была не только разная мебель, но и фортепиано, и люстра, зажженная разноцветными свечами, и даже клетки с птицами, а куклы преважно сидели разодетые на диване, ожидая своих маленьких хозяек. Когда куклы перестали нас занимать, мать нам дарила много хороших книг, и у нас составилась очень хорошая библиотека, дарила нам также свои вещи, например: в 13 лет я получила часы с брильянтами, и m-me de Laveau приходила в ужас, говоря:

— Mais, chère princesse qu' allez-vous donc donner à vos filles, quand elles auront 17 ans?

— Eh! M-me de Laveau,— отвечала мама,— si j'aurai quelque chose de mieux, je le leur donnerai, si non, elles s'en passeront*.

Она так любила делать удовольствия, что ей хотелось все отдать поскорее, что имела. Перед рождением или именинами которой-нибудь из нас готовились столики с подарками и ставились самой мамá, когда виновница праздника спала, около ее кровати. И чего, чего не было на этом столике, который отнимал у меня сон и, как магнит, притягивал к себе. Проснешься бывало, темно еще, и начнешь рукой потихоньку щупать все вещи и разгадывать, что бы это такое было?

Как рождественские праздники ни радовали нас, как ни веселились мы на Святках, а приближение великого, светлого праздника — нельзя было сравнить ни с какой радостью, ни с каким весельем; что-то небесное, святое — ощущала душа в ночь Светло-Христова Воскресения!.. Весь Великий пост, в свободное от уроков время, мы работали на бедных, на церковь и готовили подарки матери; а в это время Катенька читала нам Евангелие. Это были счастливейшие минуты нашей жизни, когда мы около дорогой матери, в ее маленьком кабинете слушали слово Божие. Начиная с пятницы Страстной недели, мы готовились к светлому празднику и с нетерпением ожидали его. Перед заутренею мы одевались во все белое, шли в церковь и с особенным благоговением ожидали пения «Христос воскресе». Похристосовавшись со священником и матерью, мы, радостные и веселые, возвращались домой. Там первый встречал нас Евграф, в черном сюртуке и белом галстуке; так было весело, что и Евграф казался не таким, как обыкновенно, и

---

* — Но, дорогая княгиня, что же вы подарите своим дочерям, когда им будет по 17-ти лет?

— Если у меня будет что-нибудь лучшее, я то им подарю, а если нет, то они обойдутся и без подарка.

с ним христосовались с особенным чувством. Потом бежали в столовую, где громадный стол был уставлен разными блюдами, и по прибытии священника разговлялись.

В этот день всегда приезжала к нам одна бедная дама, известная над именем «Чуркиной барыни». Она бедненькая, на одной лошадке, подъезжала к девичьему крыльцу; поднималась в девичью, усаживалась и кушала с аппетитом все, что ей приносили, и, получив от мама́ помощь, уезжала. Похожа она была на сову, в своем белом чепчике с оборками, и страшные глаза ее навыкате пугали нас. Она была дворянка и интересна только тем, что имела лишь одного крепостного мужика, Чуркина, который служил ей во всем и даже своим именем, так как ее фамилию мало кто знал, а все знали ее под именем «Чуркина барыня».

Рассказывают, что она в молодости вышла замуж, против желания родных, которые ей ничего не дали, исключая одного только Чуркина, и, похоронив мужа, она стала окончательно бедствовать и даже с горя стала попивать. Крепостной ее человек остался ей верным слугой и кормил ее до конца ее жизни. Он развозил свою барыню по соседним помещикам, которые ей помогали.

XI

Жизнь наша в Огареве.— Приезд брата и его характеристика.— Отъезд отца за границу.— Возвращение его в Россию и приезд в Огарево. Отъезд в Москву.— Бабуша А. М. Павлова.— Приезд отца в Петербург и жизнь в Гостилицах.— Вторичный отъезд за границу.— Свидание с А. И. Герценом.— Последствия этого свидания и издание брошюры деда.— Опала и жизнь отца в Козлове

Жизнь наша в Огареве, которую мать сравнивала с жизнью женского монастыря, текла мирно, тихо, и, казалось, все были довольны, все счастливы; но серд-

це нашей матери не могло быть покойно, и часто я замечала в глазах ее слезы. Тогда я робко подходила к ней, желая приласкаться; она обнимала меня, и мы обе плакали. А когда, бывало, сидя у окна в своем крошечном кабинете, мама́ потихоньку напевала:

Тяжело, не стало силы.
Ноет грудь моя,
Злое горе до могилы
Дотащу ли я?..

мое маленькое сердечко тогда так больно сжималось, и я или убегала в детскую и там, уткнувшись в подушку, горько плакала, или подходила к киоту, брала образ Спасителя, крепко прижимала его к груди и просила спасти маму и папу.

Самою большою радостью для Огарева был приезд брата Евгения из Морского корпуса. Евгений получил спартанское воспитание. Пяти лет отец посадил его без седла на лошадь и, гоняя на корде, выучил мальчика держаться, а вскоре и ездить самостоятельно верхом. Очень рано он выучил его плавать, приказывая бросаться с tremplin, и сам, плавая великолепно, подхватывал сына, когда видел, что он выбивался из сил. С семи лет он отдан был в Тамбовский кадетский корпус. Вот случай из того времени, когда он был кадетом. Мать как-то взяла его с собою в Петербург. Там, гуляя с нею каждый день в Летнем саду, маленький кадет просил одеть его по форме.

— Вот увидите, мамаша,— говорил он,— что я получу выговор от начальства и меня посадят в карцер.

— Ну кто заметит такого маленького человечка, как ты?— отвечала мать.

Однако выговор не замедлил последовать, хотя добрый и кроткий. Однажды Женя, отдалившись от матери, прибежал весь красный и, запинаясь, сказал:

— Вот видите, мамаша, я говорил вам, что в Петербурге нельзя быть кадету не по форме! Мне сам

наследник заметил это. Он спрашивал меня, с кем я здесь? Я ответил — с мама́. Так скажи твоей мама́,— сказал он,— что я прошу ее обмундировать тебя как следует, а то государь увидит тебя и будет очень недоволен.

— Зачем же ты побежал показываться наследнику,— заметила мать,— я тебе говорила, чтоб ты не смел уходить далеко от меня.

— Я увидел,— отвечал мальчик,— наследника с детьми, с которыми я играл у принца Ольденбургского, и мне захотелось поздороваться с ними.

Через несколько дней мама́ утешила своего маленького кадета, обмундировала его по всем правилам и пошла с ним опять в Летний сад. Когда Женя увидел наследника, он не вытерпел, забыл приказание матери не удаляться от нее, опрометью бросился к нему навстречу и, став во фронт, отдал ему честь. Наследник, потрепав его по плечу, сказал: «Ну, теперь ты молодец».

Обращаясь к отцу, я должна сказать, что после разлуки с семьей он не мог долго остаться в Салтыках и, поручив дело и хозяйство своему другу Р-ву, уехал за границу. Перед выездом из имения он 3 марта 1856 г. писал ему:

«Посылаю тебе, любезный друг, образ Святителя Николая, с которым я еще никогда не расставался; прошу тебя его принять от меня как доказательство неподдельной моей к тебе любви и как залог вечной моей признательности! Быть может, что наше вчерашнее прости — было последнее! Итак, прости — прими этот образ от друга твоего и моли Угодника подкрепить душу раба Юрия».

При этом письме отец прислал в Знаменскую церковь 200 руб. В письме из Берлина он писал 29 мая: «Я счастлив, дорогой друг, что могу доказать вам этим письмом, что ни расстояния, ни ваши предпо-

ложения никогда не изменят преданной любви Юрия Голицына к семейству Р-вых.

Сегодня, завтра и будущее воскресенье — знаменательные дни для Знаменского. Думаю, что сегодня приехала мой друг Юлия*, ваша дорогая дочь, итак, примите мои искренние поздравления. Мое путешествие очень интересно, но между тем и очень грустно.

Я с большим вниманием все осматриваю, и немцы народ весьма дельный, и главное практичный; здесь даже собаки с намордниками бегают — Редут** здесь не разгулялся бы!

Передайте Аркадию, что Мейербер, узнав о моем присутствии в Берлине[82] и о том, что я справлялся о нем, пришел сам ко мне, и целый день мы пробыли вместе. Он написал новую оперу и отправляется ее ставить в Париж, где, конечно, мы будем часто с ним беседовать. Сегодня я выезжаю в Дрезден. Серов со мною не поехал, обещал меня догнать. Журнал я свой веду подробно***. В Штетине пробыл день и ездил за город осматривать поля. Конечно, в России, в самый урожайный год, ни у кого я не видел такой ржи и пшеницы, какие растут у немцев на песчаном грунте и на буграх. Лошади, на которых пашут,— не стыдно в Питере по Невскому проехать! Свиней моют ежедневно с мылом, чуть не завивают!

Андрей потерял мои часы; для начала недурно, что дальше будет! Надеюсь, что путешествие для ума будет полезно, но для сердца — пусто! Прощайте, друзья мои; не забывайте искреннего вашего друга Юрия Голицына».

Эта поездка князя после разлуки с семьей не была продолжительна, так как в августе того же года он был на коронации, о чем я уже говорила выше, в сво-

* Юлия Ар. Р-ва была тогда замужем и возвращалась из-за границы после voyage de noce. Вышла замуж она за З-та.

** Собака-водолаз.

*** К сожалению, журнал этот не найден.

их воспоминаниях. После коронационных торжеств он поехал в Огарево с целью просить жену вернуться к нему в Салтыки, но не застал ее. Мать моя, также соскучившись по мужу, поехала сама к нему и на пути у друзей своих Р-вых узнала, что князь только что поехал к ней. Она, переночевав у Р-вых, спешила вернуться назад, надеясь застать его у себя.

В Огареве же отец остался очень недолго — все ему там было не по вкусу, и он постоянно восклицал: «Здесь настоящая Сибирь! Как можно тут жить?» В особенности чувствовал он себя далеко не на просторе в маленьком кабинете жены своей: вошедши туда — он занял своей особой всю комнату и, задев плечом этажерку, поронял разные фарфоровые вещицы. Желая поддержать то, что падало,— он взмахом руки уронил круглый столик, и все, что было на нем, разбилось. Впоследствии помещение наше было постепенно увеличено, и каждый год к дому что-нибудь да пристраивалось: то спальни, то большое зало с резонатом[83], одним словом, в короткое время дом в Огареве, имевший 8 комнат, постепенно увеличился до 30, и соломенная крыша превратилась в железную.

Я обожала отца и радовалась, что вижу его, но все-таки испытывала невольный страх в его присутствии и какое-то чувство отчуждения, которое меня мучило. На другой день его приезда мы несколько попривыкли и даже рискнули спеть ему хором солдатскую песню: «Солдату́шки ребяту́шки!» Не умея правильно делать ударение, мы пели: «солда́тушки-ребя́тушки!»... Отец сейчас же нас остановил: поставил нас перед собою в ряд и велел петь за ним, произнося, «солдату́шки-ребяту́шки!»... и т. д. Потом пошли мы с ним гулять, но прогулка ему еще менее понравилась, чем все остальное, и даже рассердила его. На нем был надет какой-то большой широкий плащ; когда он вышел на улицу и, подбоченясь, стал оглядывать окрестности Огарева, то фигура его, и без

того большая, показалась еще больше, и ребятишки, высыпавшие на улицу, так испугались внушительного вида отца, что моментально все исчезли и попрятались за ворота. Привыкший, что в Салтыках весь народ, от мала до велика, встречает своего князя с поклонами и приветами, он остался недоволен, что старшие не внушают детям почтения к своим господам. Вместе с тем, чтобы дети не считали его пугалом, он послал за лакомством, велел собрать всех ребят, и мы бросали им пряники.

На обратном пути в Салтыки он встретил мама́ на почтовой станции; но почему каждый из них поехал своей дорогой — все это осталось тайной... Отец приезжал в Огарево осенью, а зиму того же 1856 г. мать моя со мною провела в Петербурге, у бабушки Т. Б. Потемкиной, где я была больна безнадежно тифом, отец же в то время находился в Москве, со своим хором, где давал концерты, серьезно занимался музыкой и предался окончательно музыкальному делу. Он приехал навестить нас в Петербург и привозил своих певчих, которые пели в большой зале дома Потемкиных. Воодушевляясь музыкой, которая часто благотворно действует и смягчает душу человека, отец писал 13 марта 1857 г. своему другу Р-ву, что он уезжал из Москвы на несколько дней в Петербург, чтобы «проводить свою жену и очаровательную Лелю, которую Бог милосердием Своим возвратил к жизни.

Я так здесь (в Москве) занят,— прибавлял он,— музыкой и так работаю усердно и добросовестно, что решительно могу сказать, что не имею четверти часа свободного. На 400 р. сер. выписал партитур из Германии: всего Гайдна, Марчелло, Керубини, Палестрино и учусь оркестровке Je vone décidément à présent toute mon existence à la musique; je renonce à tout et je

me fais artiste*. Пока тебе пишу, Елагин с Мальковым** играют мне увертюру Гайдна: «Judas Maccabée», c'est sublime! Какое блаженство! Обнимаю тебя, моего искреннего друга: передай твоей жене, что на свете я признаю и люблю свято только музыку, жену с детьми (мою) и всех вас — знаменских друзей.

Никогда, никогда вас не забуду, до последнего издыхания. Я надеюсь, что жена твоя, а в особенности моя добрая «Бабуша» me rendront justice (отдадут мне справедливость). Пишу, а слез удержать не могу, вспомня всех вас!.. Прощай!.. Друг ваш Юрий.

P.S. Ожидаю Катю*** для концерта в воскресенье».

Посылая при этом свой портрет А. А. Р-ву, князь написал на нем:

Портрет ты мой хотел иметь,
Спешу тебе его представить!
А то боюсь так растолстеть,
Что на листе уж не уставить!

А «Бабуше» — Анне Михайловне Павловой, отец прислал красивый футляр для карт, на крышке которого были эмалированные карты, означающие в гадании: исполнение желания, любовь, дружбу, и выбито следующее стихотворение:

Бабуша! Вы в памяти моей живете!
И карты мысль мою вам изъяснят.

---

* Я положительно посвящаю себя музыке, отказываюсь от всего и делаюсь артистом.

** Мальков был взят отцом моим маленьким мальчиком из крестьянской семьи села Салтыков в певчие; потом сделался регентом и помощником отца, выучился играть на фортепиано и впоследствии давал уроки музыки.

*** Т. е. жену свою; а ей он написал следующую телеграмму: «Концерт в пятницу, в час; признаюсь, что твое отсутствие меня огорчит. Ответь сейчас. Твой друг Юрий»; и другую: «Выезжал тебя встречать в Тверь и с грустью по ошибке ночью поцеловал какую-то рожу. Твой муж Голицин». Без шуток отец не мог жить.

В них исполнение желаний вы найдете,
С эмблемой вечной — вас любить!

Анна Михайловна Павлова, рожденная Соковнина (Бабуша — как все ее звали), была большим другом нашего поэта Жуковского, который в молодости был ее поклонником; она любила поэзию, много знала наизусть стихотворений и сама часто, обращаясь к своим друзьям, говорила и писала стихами. Вот одно из ее стихотворений, сказанное экспромтом, в котором она рисует так откровенно свой милый портрет:

Все тот же капор обветшалый,
Все тот же чепчик на боку!
Все то же платье — «цвет увялый»!
Но в том уверить вас могу:
Все то же сердце неизменно...

В 1856 г. ей было 72 года, и она написала тогда следующее стихотворение:

А мне все не спится,
Куда как тяжело!
В уме все вертится
Одно да одно!
Есть что-то такое,
Что спать не дает!
То горе лихое
Так сердце и жмет.
Уж это мне горе!
Куда ж его сбыть?
Как бурное море,
Кипит и крутит.
И нет мне покоя
Ни ночью, ни днем...
Всегда нас с ним двое,
Вдвоем и умрем!

Летом, в 1857 г., отец продолжал усердно заниматься музыкой и готовил певчих к концертам, приискивая возможность продать свой хор. В период этого времени он хлопотал также о месте директора

певческой капеллы или директора Императорских театров; были у него также дела и по имению. Вследствие всех этих причин он должен был побывать в Петербурге. Мать моя, оставив нас в Огареве с m-me de Laveau, поехала также в Петербург к мужу, но большую часть времени гостила у Т. Б. Потемкиной, в Гостилицах, близ Петергофа[84], куда и отец переехал со своим хором. Перед переездом туда он писал жене:

«Дорогой ангел! Издержки на содержание певчих, которые необходимо должны остаться до 1 августа, становятся слишком велики, и я решаюсь переселиться на лето в Гостилицы. Для исполнения этого намерения я посылаю Степана в Гостилицы, чтоб найти в селе четыре избы для детей (певчих) и одну для меня и сделать заготовление провизии. Прошу тебя поговорить об этом с тетушкой Потемкиной и особенно дать ей понять, что все это будет на мой счет, потому что я не хочу, чтоб предположили во мне желание «жить на хлебах» со всеми певчими; и потом, так как в продолжение лета я должен буду несколько раз бывать в Петербурге с моими певчими, то удобнее в один раз переселиться, чем делать эти издержки. 15-го числа будущего месяца мы будем в Гостилицах и в продолжение всего лета будем петь маленьким хором всенощные и обедни в церкви Гостилиц; я надеюсь этим сделать удовольствие тетушке и дяде. Для себя я ничего не прошу: ни комнаты даже, ввиду того, что предстоит большая работа, и, следовательно, я буду жить на селе с певчими. Ко мне придираются в Салтыках; я уезжаю завтра, чтоб к 10-му быть назад. О том, что касается наших дел,— помолись и пошли письмо к государю. Целую тебя с безграничной любовью, которую к тебе питаю. Твой друг Юрий».

Мать, соскучившись по нам, вернулась в Огарево, отец оставался до осени в Гостилицах; хлопоты его не увенчались успехом: продажа хора не состоялась, место директора капеллы или театров он не получил, хор распустил и, расстроенный и недовольный, уехал опять за границу.

Там, как я уже говорила*, он несколько раз виделся с Герценом и завел с ним переписку[85], чем и обратил на себя внимание правительства. Почти одновременно с этим дедушка мой, князь Николай Борисович Голицын, воспитанный иезуитами, был в душе католик и написал статью против православия. Он прочитал ее Андрею Николаевичу Муравьеву[86], который, возмущенный ею, сказал дедушке:

— Писать вам, князь, никто запретить не может, но знайте, что если вы напечатаете эту статью,— я вас выдам.

Когда отец мой уезжал в Лейпциг, дедушка дал ему свою статью, прося отдать там ее напечатать. Будучи человеком очень религиозным, князь Юрий Николаевич никогда бы не напечатал подобной статьи, но, не поинтересовавшись ее содержанием, он исполнил просьбу своего отца. Когда статья эта появилась и произвела большое впечатление в Петербурге, Андрей Николаевич Муравьев исполнил свое слово и выдал автора! Вслед за тем узнали, что виновником ее появления был князь Юрий Голицын, и императрица Мария Александровна приказала уволить его от службы по своему ведомству. С увольнением в отставку отец мой лишился звания камергера, поселился в г. Козлове, Тамбовской губернии, и был отдан под присмотр полиции. В Козлове он жил исключительно музыкою.

Воспользовавшись разлукой князя с семьей и его опальным положением, нашлись люди, которые, под

---

* См. с. 65.

личиной любви и преданности, вошли в дружбу к отцу моему и овладели его сердцем. Он же не умел любить тихо — буря поднялась снова, и угасшие увлечения с новой силой забушевали!..

XII

Мое первое горе.— Отъезд отца за границу.— Жизнь его в Лондоне.— Концерты и неудачи.— Наши друзья и столичные гости

В 1859 г., когда отец жил в Козлове, а мать была с нами в Огареве, он просил привезти нас к нему. Не знаю, почему мать сама не поехала, а послала нас с братом и няней. Ехала я с чувством и радости, и страха, и, не сознавая почему, мне было так жаль мать и отца, часто напевала:

В хижину бедную, Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь?
Скоро ли мать расцелую любимую —
С добрым отцом обнимусь?..

И при последнем стихе я украдкой вытирала слезы, чтобы няня с сестрами не заметили их. Вскоре после нашего приезда приехала и мама, вызванная отцом. Она была печальна, расстроена, и мне показалась постаревшей; одета была просто и не снимала с головы беленький, старушечий чепчик. Отец был также грустный, мрачный и часто слезы навертывались у него, в особенности когда он ласкал нас.

Брат мой был какой-то сконфуженный и также не такой, как всегда. Что́ все это значило, я не понимала; мне было 9 лет, но всех их было жаль... Когда мать моя ехала в Козлов к отцу, она по дороге заезжала к друзьям своим Р-м, и там приснился ей знаменательный сон: видела она себя мертвой и старого слугу своего, Василия Кузьмича, который одел ее в

белое платье и поставил в угол; в другом углу стоял муж ее грустный, а около него стояла наша соседка, девица К., смеющаяся и указывавшая на ее труп пальцем и говорила: «Умерла!» Впоследствии я узнала, что мать, приехав в Козлов, должна была выдержать тяжкие сцены: отец просил дать ему развод. Но она наотрез отказала, сказав, что ни перед Богом, ни перед детьми, ни перед совестью она этого не сделает — и развода никогда не даст. Мы с матерью уехали обратно в Огарево, расставшись надолго с отцом... Вскоре и он покинул Козлов, уехав за границу, куда последовала за ним та, которую мать моя видела во сне, указывающую на нее, говоря: «Умерла»; сон был в руку — все кончилось...

Для меня это было первое настоящее горе. Хотя отец и не жил с нами — разлука с ним не представлялась мне такой ужасной, как тогда, когда узнала я, что он покинул родину на неопределенное время. Я всегда была с ним в переписке, а тут стала писать чаще и, получая его ответы, заливалась горючими слезами.

Будучи под присмотром полиции и не имея права выезжать из Тамбовской губернии, отец придумал следующий способ, чтобы уехать тайно за границу. Он затеял строить ледяную гору от своего дома по базарной площади и дальше для забавы народа и своей, как уверил он, и, собираясь однажды в Тамбов к губернатору, просил городничего последить за горой и, когда будет готова, сообщить ему об этом в Тамбов. Сделав такое распоряжение, он уехал. У городничего гора была готова, и он телеграфировал отцу моему, прося его приехать. Получив эту телеграмму, отец ответил: «Городите гору выше, хочу прокатиться дальше». А сам в ту же ночь, после ужина у губернатора, уехал за границу! Бедный городничий был обманут, но зато народ очень был доволен и катался, вспоминая и благодаря князя, что оставил по себе такую

веселую память. В Козлове и теперь вспоминают об этой горе.

Из Перекопа отец отправил князю Василию Андреевичу Долгорукову, который был тогда шефом жандармов, следующую телеграмму: «Благодаря исправности вашей тайной полиции я благополучно достиг границы». Мать моя в то время находилась в Петербурге, и князь Долгоруков, показывая ей эту телеграмму, с ужасом сказал:

— Посмотрите, что проделывает «Юрка»! Ведь он меня срамит на всю Европу!

А бедная моя дорогая мать, вернувшись в Огарево с новым горем, имела очень неприятное объяснение с чиновником особых поручений пензенского губернатора Н. А. Мясоедовым, который был прислан к ней по просьбе тамбовского губернатора. К счастью, он был человек почтенный и деликатный, и в самых вежливых выражениях объяснил матери моей причину своего приезда. Ее обвиняли в том, что она помогла мужу уехать, чтобы остаться опекуншей над его состоянием, и прислали чиновника для расследования.

Покинув родину тайком, отец не имел уже права вернуться и очутился в бедственном положении на чужбине.

«Здесь,— писал он 14 (26) мая 1860 г. из Лондона,— жизнь скромная, умеренная, чрезвычайно дорога, а роскошная жизнь — разорение. Конечно, я приехал сюда не жуировать, а работать, и Англия такая страна, что деньги зарабатывать с талантом нетрудно, ибо здесь за концертный билет цена 5, 6 и 7 руб. сер. Плохой учитель музыки или пения получает 3 руб.; известное имя — от 6-ти и до 8-ми руб. на дому; так что я могу в день, сидя дома, давать по три и по четыре урока (т. е. на 20 руб. сер.). За статьи музыкальные, сочинения и переводы также получают хорошую плату. Но вся здесь штука в одном: не обнаруживать свои средства! Дома сиди хоть голый и

питайся одним картофелем, а квартира должна быть, для успеха в будущем, в аристократическом квартале, дом прилично меблирован (чтобы давать на дому уроки), ибо, по понятиям англичан, учитель, дающий уроки не у себя,— дурак, прощелыга, и если он не богат, нет ему доверия, нет ему и цены и нет, говорят, у него и таланта. Здесь так бывает!.. Переводчик Библии Кошнев — прекрасный молодой человек, приехав в Лондон, два года бедствовал потому только, что он на первое время не умел себя самостоятельно поставить, а люди-спекуляторы забрали его так в руки, что его трудами наживали большие деньги, а он едва имел насущный хлеб. Так и со мной хотят поступить! Англичане народ практичный, пронырливый и предприимчивый. Они уже предлагали меня купить на двенадцать лет, но дело в том, что я получать буду едва-едва на содержание, а впереди у меня все-таки имени нет и, продав себя таким образом, я должен буду по их назначению петь, дирижировать, уроки давать, сочинять, переводить, писать статьи, описать мою жизнь — словом, отдать себя, за исключением телесного наказания, в крепостное состояние! И что же в будущем? На сорок девятом году ce trouver en face de rien!* А я должен думать о будущем... Мой талант с каждым годом усиливается и, отдав себя в куплю, я загублю весь музыкальный капитал, убью свой талант и потеряю нравственную силу, меня поддерживающую! Ты, К-в, меня бы здесь не узнал: в шесть с половиной часов я уже одетый сижу в кабинете за работой, в восемь часов пьем чай за русским самоваром, а в девять я опять за работой до двенадцати; в это время мы завтракаем, в час я отправляюсь в Citiz по делам, возвращаюсь в шестом часу; в шесть обедаем, в семь гуляем в нашем саду, в девять чай пьем, а в десять опять за работу до двенадцати.

* Остаться ни при чем!..

Пища наша обыкновенная или даже ниже обыкновенной; суп всегда отвратительный, потому что говядина стоит 1 р. 20 к. фунт, кусок рыбы, кусок говядины, вода, и то теплая: лед так дорог, что о нем думать не должно. На завтрак подают, если осталось, холодную говядину или баранину, кусок сыру, редиску и иногда яйца; яйца здесь три и иногда четыре копейки серебром штука. Зато отдуваемся чаем; чай здесь — 1 р. 50 к. фунт, а сахар 17 к. Я позволяю себе только одну роскошь — утром несколько ложечек сливок (на 20 к.), молоко здесь недорогое, но оно напоминает вкусом и цветом Черное море. Здесь все так дорого, что, несмотря на то, что я принимаю каждый день провизию на своих весах и что в день хожу раза четыре на кухню, у меня выходит 7 рублей. Подумай, во что мне обойдется год! В особенности теперь нам все стоит вдвое, ибо, не зная языка и имея дело с таким народом, у которого честный человек считается дураком,— кричи «Караул!» Это не мои слова и убеждения, это голос всех иностранцев, здесь проживающих. Они, т. е. англичане, как мусульмане, гордятся тем, кто чище обдерет иностранца. Правосудие здесь напоминает нашу Россию: бедный человек не в состоянии вести процесс. Я теперь пишу брошюру «Салтыково-Голицынская капелла», а потом буду описывать причину моего выезда из России, а потом уже примусь за Англию. Стелловский может получить от меня эти статьи об Англии для своего журнала[87] — я возьму не менее и не более других. Вот, мой друг, здесь всегда так. Силен тот, кто не голоден. 15 месяцев я не должен нуждаться в средствах, а то меня запрягут в тягловой хомут и все будущее пропало. Если я здесь себе составлю имя, тогда я вызову из России хор басов и теноров и наверное полмиллиона заработаю, но до того нужно дожить и прожить. Конечно, я и теперь надеюсь что-нибудь заработать, но, увы, время концертов проходит. Нот нет, денег

также. При такой обстановке петля гораздо ближе висит, чем надежда на будущее. У Б. деньги мои, у Г. тоже, а я здесь сижу без денег, задолжал уже 1500 р. Узнай в подробности действия правительства и тамбово-козловских властей по моему делу о побеге; а записки перешли чрез верные руки к Андрееву. Он, говорят, сидел под арестом. Мне эти подробности необходимы. Что Стелловский? Что Даргомыжский? Что Серов?[88] Что все?.. Перепиши это письмо и перешли к В. В. Р-вой[89]. Юрий Голицын».

Поселившись в Лондоне, князь Ю. Н. Голицын испытывал много невзгод и лишений. Так, он заключил контракт с одним антрепренером, которому за три шиллинга в день обязан был три раза в сутки дирижировать в концертах или оркестром на бале. Трудно сказать, сколько времени пришлось бы ему отбывать подобного рода тяжелую службу, но, приобретя себе уже известность в Англии, Шотландии и Ирландии, он вошел в соглашение с другим концертным антрепренером, г-ном «Кардуэль и компания», содержателями великолепного сада в Лондоне «Sereygardens», и заключил с ними контракт на срок сезонных концертов. Условия были выгодные: полный валовой сбор должен был делиться между ним и антрепренерами, но с тем условием, что князь Голицын должен был составить оркестр не менее как из 60 человек, а все расходы по саду, афиши — падали на антрепренера и компанию. Зала, в которой должны были быть концерты, вмещала, кроме наружных галерей и террас, более 8000 человек. Первый концерт должен был быть в пользу антрепренеров. В день их бенефиса по Лондону разносились огромные афиши в виде «двуспальных одеял», как говорил отец, и которые гласили, что весь концерт будет под управлением His Highness prince George Nicolas Golitzine, т.е. его ко-

ролевского высочества*, князя Георгия Николаевича Голицына, и на афишах чуть не аршинными буквами красовались имена Альбани и Олебуля**.[90] Концерт вполне удался, сбор был громадный, так как публики было не менее шестнадцати тысяч человек. Но не суждено было осуществиться второму концерту, от которого отец ожидал прибыли. После репетиции, которая кончилась в 12 часов, отец пошел домой в Alfa Rood; путь был далек, он рассчитывал к четырем часам быть дома; проходя по Regent Street около 4 часов, какой-то господин подошел к нему и спросил по-французски с итальянским акцентом:

— Вы князь Голицын?

— Да,— отвечал отец.

— У вас сегодня назначен концерт в «Sereygardens»? Но этот концерт состояться не может — и, указывая по направлению «Sereygardens», где виднелся густой черный дым, подал отцу газету «Express», выходящую ежедневно в три часа, в которой он с ужасом прочел: «Пока мы пишем эти строки, Sereygardens'кая зала, в которой был вчера концерт под управлением князя Голицына, наполовину уже сгорела».

Это известие было, конечно, страшным ударом для отца. Причину пожара никто не мог разъяснить, но подозрение было на товарищей Кардуэля — контракт был слишком выгоден для князя Голицына, сила контракта пожаром уничтожалась, и можно было приступить к новому условию на менее выгодных для него условиях, что и было сделано. Кардуэль и компания ничего не потеряли, зала была застрахована и накануне концерт с буфетным сбором дал 10 тысяч рублей чистых, и Кардуэль выстроил новую залу в

---

* При переводе князя на титул принц англичане именуют его королевским высочеством.

** Альбани — знаменитая певица-контральто, а Олебуле — знаменитый скрипач.

виде палатки, с раковинообразной формой для помещения оркестра.

Концерты в Лондоне — это та же рулетка: погода хорошая — сбор громадный, погода дурная — банкротство концертных антрепренеров, и Sereygardens'кие концерты потерпели неудачи вследствие проливных дождей, ливших целый месяц; более 150 или 200 человек не приходило их слушать.

Несмотря на понесенный убыток от Sereygardens'ких концертов, отец вспоминает с удовольствием о тех хороших отношениях между ним и его оркестром и то доверие, которое музыканты имели к нему: «Хорошие отношения, говорит он, которые существовали между мною и музыкантами, были в продолжение всей моей артистической жизни одним из самых отрадных явлений». После этой неудачи отец получил предложение г-на Смита управлять оркестром в Креморенгарденском саду, который он купил за 20000 фунтов стерл., и для устройства этого сада ничего не жалел. Он предложил отцу заключить с ним контракт на 6 лет, с платою ежегодно за 8 месяцев 3000 фунтов жалованья, квартиру с полным содержанием, четырехмесячный отпуск и полный бенефис в средине сезона. Нельзя было не согласиться на такие условия, и отец был в полном восторге, сожалея только о том, что подписание контракта Смит отложил, желая, вероятно, испытать «князя Голицына». На него смотрели тогда как на «князя-дилетанта». Вот что говорил он по поводу этого: «В течение моей жизни я не раз привлечен был к занятию многих почетных должностей, был честолюбив, но всегда таилось во мне призвание артиста! Много горького и тяжкого испытал я за это призвание.

Нет сомнения, что рождение, связи и та обстановка, в которой я находился, немало тормозили более серьезное развитие моей артистической деятельности и, при появлении моем на заграничном артистиче-

ском поприще, там сначала полагали меня способным воспроизводить только то, что принято в обществе, с критической точки зрения, называть — musique de prince*. Но сила воли взяла свое, и не доверявшие дали впоследствии мне возможность иметь честь и право считать себя артистом.

В заключение смело скажу, что одна только горячая любовь к искусству постоянно поддерживала меня в моем призвании и довела, несмотря на сословные предрассудки и ожесточенные борьбы, до берега».

Итак, вернемся к концертам Кремеренгарденского сада. Смит предполагал для открытия гулянья в своем саду собрать для этого торжества четыре оркестра и несколько хоров, всего до 1000 человек, под управлением князя Голицына. Для этой цели в саду была выстроена громадная эстрада и великолепная декорация. Программа была составлена самим Смитом и, по словам отца, не отличалась музыкальным интересом. Каждое отделение начиналось увертюрой из разных опер. А именно: «Цампы», «Фенеллы», «Бронзового коня» и «Фра-Диаволо»[91]. В день концерта отец явился в 9 часов утра на репетицию. Все музыканты, участвовавшие в концерте, были ему незнакомы, и во время репетиции он заметил, что они неохотно играют под его управлением, не вполне подчиняются его темпу, переговариваются, хихикают и т. д., но он старался не замечать этого. Оставалось исполнить увертюру «Фра-Диаволо», которая начинается барабанным solo. Отец подал знак барабанщику-солисту начинать, но последний разговаривал со своим соседом и не начинал; тогда отец постучал палочкою по пюпитру и дал повторительный знак. Барабанщик не унимался и продолжал разговор. Тогда отец, обратясь к нему, с сердцем сказал, как он сам выражается —

* Княжеская музыка.

«avec le ton qui fait la musique»: «Je ne suis pas venu, monsieur, pour écouter vos balivernes, je vous engage d'être à votre affaire»*.— «On y est, monsieur, est on y sera»**,— ответил нахально француз-барабанщик.

В половине восьмого вечера того же дня начался концерт. В программе первым № стояла увертюра «Цампы». Отец мой вошел на эстраду, махнул капельмейстерским жезлом и, о ужас! С первого же аккорда послышался страшный диссонанс: один оркестр начал «Цампу», другой — «Бронзового коня», третий — «Фенеллу» и четвертый — «Фра-Диаволо», и тот дерзкий барабанщик, стоя на стуле, громко бил дробь на барабане, прикрикивая: «On y est, monsieur, on y est!!..»***

«Видя, что это было не что иное, как общий заговор всех музыкантов против меня, говорит князь Голицын в своих воспоминаниях, и что тут уже ничего не поделаешь, увлекся постоянной моей нетерпимостью и, пустив метко моим капельмейстерским жезлом в грудь француза, сошел с эстрады!

Смит, которому об этом скандале немедленно доложили, бежал уже к месту сражения и, встретив меня на дороге, сказал мне:

— Может быть, у вашего королевского высочества много таланта, но вы не обладаете одним и самым главным, это — уменьем уживаться с теми, от кого вы зависите, и потому, не находя возможным иметь с вами серьезное дело, от предложений моих отказываюсь и контракта не подпишу. Доброй ночи!

И с этими словами он пошел дальше. Долго стоял я на одном месте, но в первый раз не выдержал такого удара... и горько заплакал».

---

* Я здесь не для того, чтобы слушать ваши шутки,— я прошу вас заниматься вашим делом.

** Я здесь, милостивый государь, и буду на своем месте.

*** Я здесь, милостивый государь, я здесь!!..

Вот какие тяжкие минуты приходилось переживать отцу на чужой стороне. Но он не унывал.

«К будущему сезону я надеюсь поставить «Жизнь за Царя»[92], писал он Р-ву, и, конечно, сам буду дирижировать в оркестре au théâtre de la reine. Cela sera un pas pour avoir après la direction des opéras classiques*. Я только сегодня вернулся из провинции. Представь себе, любезный камрад, с 10-го августа по 24-е сентября chaque jour un et quelquefois deux concerts et chaque jour un voyage sans valet de chambre!**

Трудно, брат, а честно, так должно — je suis venu gagner mon pain et une fortune!*** Иногда хочется закричать: Эй... человек! Надень носки! Подождешь, подумаешь, нагнешься и кое-как сам натянешь; да, мой друг,— autre temps, autre moeurs!**** Я, впрочем, так теперь привык к этой новой жизни, так свыкся с лишениями, что, кажется, иначе быть не может и не должно! Je suis homme à présent*****; и я так увлекся моим положением, что если бы теперь я должен был ne pas travailler pour vivre et ne pas vivre pour travailler, ma position ne serait pas tenable!****** Сожалею только, что 36-ти лет попал в эту школу, а не 16-ти,— чувствую, что я был бы человек, и человек недюжинный».

Мама́ со смирением продолжала переносить свое горе; забот же у нее прибавилось: по желанию отца она была назначена опекуншей над его состоянием и часто должна была ездить в Салтыки. Иногда мама́ и

---

* В театре королевы; это будет шаг, чтобы получить место директора классических опер.

** Каждый день один, а иногда два концерта, и каждый день путешествие без лакея!

*** Я приехал сюда зарабатывать насущный хлеб и состояние.

**** Другое время, другие нравы.

***** Я теперь стал человеком.

****** Не жить для труда и не трудиться для жизни — положение мое было бы невыносимо.

нас брала с собою, что составляло для нас величайшее блаженство, потому что мы заезжали к нашим друзьям Р-м и оставались у них гостить[93], пока мама́ была задерживаема делами в Салтыках.

Радость Р-х видеть нас была большая. В доме поднималась беготня, кто заботился, как бы посытнее угостить, кто — как бы покойнее устроить комнаты приезжим друзьям из такой дали. Но мы о покое не думали и требовали, чтоб нас непременно помещали всех вместе; а так как комната трех наших подруг была невелика и поставить шесть кроватей было невозможно, то нам устраивали постели на полу, а кровати оставались пустые. Сон долго не смыкал наших глаз, ему не было места в нашей комнате, которая далеко за полночь оглашалась болтовней шести юных девочек и их веселым смехом. После того, как В.В. Р-ва несколько раз повторит нам: «Девчонки, пора спать!», мы на время стихали, потом шепотом продолжали наши разговоры и, наконец, под тихий говор — одна за другой — засыпали... А утром — просыпались под чудные звуки Фильда, Шопена, Мендельсона и др. Р-в как вставал, садился за фортепиано и, великолепно исполняя эту дивную музыку, вливал в душу такие хорошие, радостные чувства! Дорогой наш друг, дивные звуки, которыми он услаждал нас, и многое хорошее улетело в вечность и прошло безвозвратно, как будто и не существовало... Но в душе все живет и прошлое неизгладимо!

А когда мы взрослыми девицами приезжали к Р-вым, то так веселились, что впоследствии и удовольствия Петербурга не заставляли забывать веселые дни, проведенные с нашими друзьями, и, пожалуй, иногда променяли бы пышный великосветский бал на наши танцевальные вечера в Знаменском.

Так как Р-вы славились своим гостеприимством, то у них всегда кто-нибудь бывал из соседей; с нашим же приездом молодежи прибавлялось, и все удоволь-

ствия бывали в очень большой компании. По утрам мы обыкновенно сходились вместе, каждая с работой, а хозяйка дома или сестра ее читали нам громко; они придавали столько жизни каждому, даже незначительному рассказу, что слушать их было наслаждение, а в особенности когда читали классиков. После обеда мы все отправлялись играть на бильярде; вечер начинался с пения. После чая А. А. Р-в обыкновенно садился за фортепиано и, проиграв несколько аккордов из того, что он желал бы, чтоб я спела (почти всегда начинал он с «Любви роскошная звезда» из «Руслана»)[94], приглашал меня петь. Я спешила кончать свой чай и идти на его зов. Вся наша милая, старая и молодая компания рассаживалась по уголкам и слушала меня. Я певала долго; мне самой приятно было делать удовольствие тем, кто любил мой голос и пение. Кончали вечер танцами. В хорошую же погоду и лунную ночь любили ездить кататься, и после ужина нам подавали несколько розвальней, и поезд наш трогался. Дом Р-х стоял на очень живописной, довольно большой горе, под горой протекала широкая река, по ту сторону был лес; и наше любимое место катанья было ехать на реку, так как при лунном освещении местоположение было очень красиво. При спуске с крутой горы розвальни пустели — мы с криком и хохотом на ухабах и раскатах вылетали из них!

Однажды приехали к Р-м молодые люди, проводившие большую часть времени в Петербурге, они важничали тем, что не провинциалы, и, напоминая об этом, говорили: «chez nous à Pétersbourg». Мы, желая позабавить столичных гостей деревенскими удовольствиями, по обыкновению приказали заложить розвальни, надели свои полушубки, шапки, солдатские башлыки, подпоясались красными кушаками и, щеголяя деревенским нарядом, пригласили кавалеров нам сопутствовать. Кавалеры вышли, одетые по последней моде, надеясь, может быть, пленить нас и, веро-

ятно, думали найти у крыльца великолепную тройку, так как у Р-х был хороший конный завод, но по их удивленным лицам можно было видеть, что розвальни на них не совсем сделали приятное впечатление, и они поневоле, с гримасой, уселись в «мужицкие сани». А мы, проказницы, шепнули кучеру, чтоб на ухабах ехал шибче! Каков был ужас наших петербургских франтиков, когда они на ухабе очутились выброшенными в снег. На этот раз мы удержались и не упали, но зато хохот был неудержимый и, вероятно, по мнению наших кавалеров, вышел из приличия; они так разгневались, что решили вернуться пешком, боясь опять выпасть из отвратительных саней, и, спотыкаясь, теряя калоши, поплелись домой... А мы, чтобы не дразнить их нашим хохотом, который не в силах были удержать, погнали лошадей и скрылись от недовольных взоров наших столичных гостей!..

XIII

Накануне эмансипации.— Неустрашимость матери.— Первый приезд посредника.— Евграф в розовых панталонах.— Приезд гувернантки и поездка в Пензу.— Возвращение отца на родину.— Поездка к дедушке князю Н. Б. Голицыну.— Весна в Курской губернии.— Путешествие по Малороссии.— Свидание с отцом.— Поездка в Тамбов.— Поступление сестер в Тамбовский институт.— Возвращение в Огарево.— Русская пляска.— Прощание с детством — Памяти брата

19 февраля, 1861 г., знаменательный и славный день для России — прошел в Огареве незаметным, так как Манифест об освобождении крестьян не дошел тогда еще до нашего захолустья. В конце или в средине марта, в самую распутицу, мама́ приехала из Петербурга и привезла его с собой. Она радовалась и гордилась тем, что раньше властей привезла в Ога-

рево счастливую весть, о которой официально нельзя было еще объявлять, но всем по секрету она читала манифест. Рассказывала она, что и как из Нижнего, по большой почтовой дороге, с трудом добивалась лошадей, так как на всех станциях велено было тройки оставлять для курьеров, которые должны были развозить манифесты. Когда пришел наш священник поздравить «княгиню» с приездом и узнать, что новенького, немало смеялся он, когда мама́ рассказывала ему, что накануне 19 февраля,— день, когда по Высочайшему повелению было приказано прочесть в церквах манифест об освобождении крестьян, страшно боялись жен священников, т. е. их болтливости, и поэтому накануне манифесты не были розданы и всех столичных священников будили ночью на 19-е февраля, вручая им манифест для прочтения за обедней. Рассказывала мама́, что в Петербурге все боялись беспорядков и бунта, но многие удивлялись этому и говорили, что страх был непонятный, неосновательный и раздутый недоброжелателями. У нас же, в Огареве, страхов никаких не было, хотя все-таки маленькое событие и произошло накануне 1861 г.

Крестьяне, в крепостное право, работали, кажется, три дня в неделю на себя, а остальные на помещика. Случилось так, что они свой хлеб свезли, а наш еще был в поле. Мать моя, чтобы не затягивать возку, предложила им поменяться днями, т. е. взять их дни и отдать им свои, когда свезут хлеб, на что крестьяне согласились. Но слова «свобода и воля» уже вертелись в головах, и, понимая их в смысле ослушания и противодействия начальству, вожаки общества взбунтовали все село и порешили не выходить совсем на работу. На другой день они также не пошли на работу и с раннего утра стали собираться к нам во двор. Мы все еще спали. Прислуга перепугалась — разбудили мама́. Она, накинув пеньюар, вышла к ним.

Многие из крестьян даже не сняли шапок при виде ее. Мама́ не смутилась и не струсила, а строго и недовольным тоном стала с ними говорить, на что некоторые не совсем дружелюбно отвечали; тогда мама́ возвысила голос и требовала выдать зачинщиков беспорядка, сказав, что если они этого не сделают, то она сейчас пошлет за исправником и становым, которые по-своему с ними разделаются. Приказчик, стоявший около мама́, был как в лихорадке и все повторял: «Ваше сиятельство! Уходите, ведь это разбойники, они вас убьют!» Мама́, приказав ему замолчать, продолжала говорить. Крестьяне один за другим стали снимать шапки и наконец, ставши на колени, просили прощения и, выдав виновников беспорядка, прямо от крыльца пошли в поле на работу. Мама́ в наказание взяла у них два дня не в зачет, а главного виновника бунта отправила на некоторое время в исправительный дом, так как у нее телесные наказания не практиковались. Этот урок и наказания послужили в пользу мужику — он впоследствии сделался самым верным и преданным слугою. Первый приезд посредника ознаменовался следующим эпизодом. Евграф явился к нему жаловаться на «княгиню», и посредник, разобрав его жалобу, пришел к нам с очень серьезным лицом и, обращаясь к мама́, сказал:

— Княгиня! Я сию минуту выслушал на вас жалобу одного вашего служащего и, признаюсь, удивляюсь вашему жестокосердию.

Мама́, легко пугавшаяся, не на шутку испугалась и с видом удивления спросила:

— Что такое, что я сделала?!

— Ваш лакей Евграф, ответил посредник, обижен тем, что вы его одеваете как старика: другого цвета, кроме черного, не позволяете носить.

Много мы все смеялись над этой жалобой, и мама́ решила прибавить Евграфу жалованья с тем, чтоб он сам одевался, как знает. Он поспешил воспользовать-

ся этой свободой и сшил себе туалет, подходящий к его молодым годам. В первый праздник нарядился он в светло-розовые панталоны и лиловый галстук, самодовольно оглядывая себя! Но, к несчастью, все его невесты девичьей осмеяли его, и он, поверив им, что черный цвет более ему к лицу, опять облек себя в старческий туалет, хотя иногда, по большим праздникам, украшал себя цветными галстуками.

В один из зимних вечеров, когда мы еще не спали, приехала к нам из Петербурга новая гувернантка m-lle К. Мама́ позвала нас и подвела к ней, сказав: «Voici vos futures éléves». Она нас испугала своим необыкновенным ростом: в ней было 2 ар. 10 вершков, и ей пришлось очень низко нагнуться, чтобы поцеловать нас. Необыкновенный рост m-lle К. возбуждал всеобщее любопытство. Так однажды, когда мы, будучи в Пензе, пошли в церковь, то прохожие останавливались и оглядывали ее с ног до головы. В церкви же у одного господина любопытство дошло до того, что он подошел к ней и поднял вуаль, желая убедиться, действительно ли это женщина.

M-lle К. была добрая, привязчивая, очень веселая, и мы скоро ее полюбили. Она научила нас всевозможным забавным играм, и сама принимала участие в них.

Но, несмотря на ее веселость, часто нападала на нее грусть, и вот причина: она постоянно видела во сне своего умершего отца, и видела его несчастным; сны эти ужасно ее мучили, и она часто говорила, что ей недостает в ее религии молитвы об усопших; тогда мама́ посоветовала ей подавать на проскомидию[95], а ей дала обязанность зажигать накануне праздников все лампады в доме и, называя ее своей «весталкой», советовала при зажигании лампадок молиться за упокой души ее отца. Совет этот не прошел даром — она успокоилась и перестала видеть тяжелые сны. Эти молитвы и покой душевный приблизили ее к нашей православной религии: она часто стала ездить с нами

в церковь, и свет, разливаемый ею в лампадках, просветил и ее душу — она перешла в православную веру.

Живши безвыездно в Огареве, мы росли далеко от родных и друзей, а между тем все желали видеть нас: некоторые из любви к нашим родителям, другие — из любопытства. Мама́ не имела достаточно средств, чтобы везти нас к родным на показ, и решила снять фотографии и разослать их всем желающим нас видеть. Итак, в один прекрасный день мы собрались в первый раз в Пензу. Радость была большая, и само собою разумеется, что, не видавши давно ничего, кроме Огарева, Пенза произвела на меня самое приятное впечатление. Мне было тогда 12 лет. Повезли нас в театр, где давали «Эсмеральду» и «Аскольдову могилу»[96]. Вернувшись в Огарево, я долго бредила театром и писала на всех тетрадках, даже Катеньке в альбом, изливая свой восторг при воспоминании о Пензе.

В 1862 г. отец вернулся в Россию; получив разрешение от императора Александра II, он, при воспоминании о своем возращении на родину, писал в своих записках следующие строки:

«Кто не испытал сладости возвращения на родину тогда, когда, вследствие сложившихся обстоятельств, уже составилось тяжкое убеждение, что возвращение невозможно,— тот вполне не может оценить всю истину и глубину известного изречения: «и дым отечества приятен». А потому, возвратившись на родину и приступая к описанию моей жизни, прежде всего не могу не сказать, как глубоко запало в мое сердце чувство благодарности и преданности к тому, который дал мне отраду этого возвращения».

Мать же, оставив нас в Огареве и уехав по делам, писала нам 14 октября того же года:

«Дорогие мои дети! В этих нескольких строках могу только расцеловать вас тысячу раз и сказать вам, как горячо люблю вас и как грустно мне было

расстаться с вами опять. Будьте умны, дорогие мои девочки, украшайте ум свой и сердца ваши знаниями, чтением хороших книг и слушайте добрые советы вашей наставницы. Если бы вы знали, как люблю я вас и как желаю я видеть в вас одно хорошее! Объявляю вам, мои милые, что отец ваш вернулся в Россию! Перед своим отъездом я не могла вам сказать об этом, потому что известие это пришло за несколько минут до разлуки с вами и я была слишком взволнована и тем и другим...

Может быть, папа приедет вас навестить; будьте милы и ласковы к нему. Он добрый, но несчастный! Утешьте его. Молитесь Богу утро и вечер. Скажите m-me de Laveau и Катеньке, чтобы они приняли папа́ как можно лучше, чтобы все его желания были исполнены и чтобы ни в чем не было недостачи. Господь да хранит вас».

В 1863 г. по первому зимнему пути мы, наконец, двинулись все вместе в дальнее путешествие. Огарево опустело. Осталась там одна Катенька, свыкшаяся так с огаревской тихой и мирной жизнью, что ей никуда не хотелось выезжать оттуда. Дедушка, кн. Голицын, пригласил нас на всю зиму погостить к себе в Курскую губернию, село Богородское[97]. Я стремилась к новым местам и новым лицам! Ехать было весело — нас была большая компания: мама́, нас трое, m-lle К., две горничные, повар и лакей. Ехали в двух возках и санях. Путешествие было длинное и утомительное, железных дорог по пути не было. Несчастная m-lle К. ужасно страдала в возке по случаю своих длинных ног, которые то высовывала в окно, то садилась на козлы — расправлять их, то выходила и шла пешком. На почтовых станциях, пока перепрягали лошадей, мы пили чай, грелись и кушали, с большим аппетитом, заготовленные на дорогу пирожки с капустой и вареньем, куры, утки и т. д. У мама́ было много друзей по дороге, и мы ко всем заезжали, останавливаясь

на несколько дней, поэтому ехали долго. Дедушка и бабушка (мачеха отца) встретили нас очень радушно. Первое время все нас интересовало и забавляло в Богородском, но скоро мы стали тосковать об Огареве. Мы чувствовали себя не дома, не было той свободы, той простоты. Пришли Святки, мы также наряжались, плясали, но праздники показались нам скучнее огаревских. Пришла Пасха, и она нам показалась совсем не такой радостной, как в Огареве. Первое неудовольствие было на то, что в доме у бабушки было так всегда чисто, что перед великим праздником мы не ощущали перемены, все оставалось на своем месте, ничто не выносилось, не выбивалось, не мылось, и мы потихоньку говорили: «Какая скука! Совсем не похоже, что мы накануне Светлого праздника! То ли дело у нас в Огареве!» Бабушка, кн. Вера Феодоровна, рожденная Пешмен, воспитывалась у прабабушки кн. Анны Александровны Голицыной[98], которая своим влиянием заставила воспитанницу полюбить православную веру, в которую она и перешла. Она, говорят, была хорошенькая блондинка, образованная, умная, хорошо воспитанная.

Дедушка, овдовев, влюбился в нее и женился против желания матери и всех родных, которые находили, что брак неравен. Но вскоре все ее полюбили, несмотря на то, что она была очень строга, как к себе, так и к другим. Дедушка и вся его семья очень ее любили и уважали. Когда дедушка расстроил свое состояние и Богородское должно было идти кредиторам, сестра его, Татьяна Борисовна Потемкина, как ангел-хранитель своего семейства, поспешила брату на помощь, выкупила его имение, но передала бабушке Вере Феодоровне, которая с тех пор заведовала всеми делами сама. Отец мой также очень любил ее и с глубоким уважением относился к ее качествам. Вначале, когда мы гостили в Богородском, я боялась бабушку, так как она не пропускала ни одной не-

ловкости, ни одной оплошности в нас и всегда все замечала, но потом я полюбила ее и пользовалась также ее расположением. Она часто, бывало, заставляла меня петь романс: «Гори, гори, моя лампада» и говорила «j'aime la voix pure d'Hélène et aussi son front si pur»*.

У них было два сына, Борис и Николай**. Дедушка Николай Борисович был чрезвычайно образованный человек. Несмотря на свою застенчивость и рассеянность, он был всегда приятным в обществе; говорил умно, красноречиво и был до старости поклонником прекрасного пола. Он играл замечательно хорошо на виолончели, так что лучшие артисты, европейские знаменитости, считали за удовольствие играть с ним. Однажды я слышала его на музыкальном вечере у Т. Б. Потемкиной, играющим со знаменитым виолончелистом Servais, и общие толки были тогда, что трудно сказать, кто лучше играл — артист или дилетант?.. Бывши за границей, дедушка познакомился с Бетховеном, с которым подружился, и чуть ли не он привез его в Россию. Есть несколько сочинений Бетховена, посвященных ему. Дедушку в доме не было слышно: он, кроме своих книг и виолончели, ничего не знал, ни во что не входил; все управлялось его женой, и редкий порядок в доме велся ею. Дедушка очень любил поэзию, часто декламировал и сам писал стихи.

Когда мы у него гостили, он по вечерам или играл на виолончели, или забавлял нас рассказами о себе и о проказах нашего отца. Он был такой добрый и ласковый к нам, и если б юность умела разумно ценить людей, их ум и знание, то можно было бы многому

---

* Я люблю чистый голос Елены, а также ее непорочный лоб.

** Дядя, Борис Николаевич, был любимец матери, а дядя, Николай Николаевич, незаслуженно и несправедливо не пользовался ни лаской, ни любовью матери, что, конечно, должно было горечью отражаться в его добром и горячем сердце.

научиться от него и много наслушаться и запомнить интересных рассказов, но, к несчастью, я была тогда почти дитя, и все слышанное позабыто; он был также участником Отечественной войны, но в юнкерском чине. Смешно, что остался у меня в памяти один только пустой, но смешной рассказ его о шалостях отца. Конечно, тогда нам, детям, этот рассказ был передан дедушкой совершенно просто, не так, как я его передаю и как впоследствии слышала, бывши взрослой,— конечно, об ухаживании, любви и успехе в то время с детьми не говорили. Вот этот рассказ: отец и дедушка как-то раз проводили зиму вместе в Петербурге; круг знакомых, конечно, был тот же; оба они любили поухаживать за дамами, но дедушка, зная успех отца в дамском обществе и любовь отбивать у него симпатию дам, старался скрыть, которая из них пользуется его вниманием, боясь, чтобы сын не разбил все его воздушные замки. Но трудно было маскироваться от опытного взгляда сына — и мечты дедушкины разбивались вдребезги...

Однажды он собрался делать визиты, принарядился, раздушился и перед выездом велел подать закусить на скорую руку.

Подали к закуске и лимбургский сыр, который дедушка велел отнести, говоря, что когда собираешься с визитами, лимбургский сыр нельзя есть. Отец, бывши в комнате, остановил человека, сказав: «Так как я, папа, сегодня не еду, желая вам дать полную свободу действий, позвольте оставить сыр — я им займусь» и принялся кушать. Между тем у него в уме было другое! Когда дедушка нагнулся к столу, выбирая закуску, он потихоньку вложил в его карман кусок сыра, который дедушка опасался даже кушать. Надушив себя еще раз, боясь захватить с собою дурной запах от близкого соседства сыра и не подозревая, что он в его кармане, дедушка уехал. Его ужасу и удивлению не было границ, когда он, посещая элегантные салоны

великосветских красавиц, был преследуем невозможным запахом... В каждой швейцарской он приказывал оглядывать свой туалет, не понимая, откуда подобный запах, но все было на нем чисто и элегантно. Он был в отчаянии, когда некоторые дамы, при его появлении, не стесняясь, держали носовые платки у носа... Не кончив визитов, раздосадованный, вернулся он домой, и там дело разъяснилось: в кармане камердинер нашел кусок лимбургского сыра. «Всегда этот проказник — Юрка везде мне насолит!» — воскликнул дедушка...

Мы в первый раз встречали весну на юге. Как ни любила я свою северную огаревскую весну, как ни находила много прелестей в ней, как ни наслаждалась мартовским солнцем, сгоняющим так быстро снежные груды, под которыми ручейки струились и которым мы, бывало, давали свободный ход, расчищая лопаточками снег и любуясь на воду, утекающую с тихим журчанием куда-то далеко по склону, как ни любила я слышать веселое чириканье разных птичек, как ни радовалась первому крику журавлей и гусей, возвещающих тепло, как ни восхищалась первым пением скворца — все эти прелести огаревской весны, по которой я собиралась тосковать, при воспоминании о ней потускнели... когда я, пораженная как бы чудом, увидела растущие из-под тающего снега голубые цветы с красивыми тонкими ярко-зелеными листьями. Да ведь какие! Ярко-голубые, стройные! И какое их было множество!.. Весь прелестный сад дедушки, без преувеличения, был как будто покрыт голубыми коврами. Вскоре после подснежников, когда сошел снег, в саду запахло так хорошо, как будто самые лучшие духи были разлиты в нем — фиалки расцвели! Недалеко от дома были меловые горы, и у подножья их было такое множество фиалок, что мы приносили их целыми корзинами, и весь дом наполнялся нежным их запахом. В первый раз я поняла,

что юг можно любить более севера. На юге природа красивее и все — украшающее ее — лучше цветет, лучше пахнет, лучше поет... Прилетели соловьи и так запели, что не ушел бы из сада! Недаром «курские соловьи» славятся, и их там так много, что легко можно было проследить, как поет соловей, с закрытыми или открытыми глазами. Они так увлекаются своим пением, что подойдешь, бывало, близко и смотришь, как соловей, закрывши глаза, заливается.

После 9 мая, отпраздновав дедушкины именины в Богородском, мы выехали в Святые Горы (Харьковской губ.) к бабушке Т. Б. Потемкиной[99]. Май месяц для путешествий самый приятный; он редко бывает дурен у нас на севере, а уж на юге России он так хорош, что забыть его трудно, и нельзя без восторга проезжать деревни и села Малороссии: маленькие избушки снежной белизны как будто утопают в сирени, розах и фруктовых садах, в полном цвету... И чем дальше мы подвигались к югу, тем я более восхищалась Малороссией, жалея о том, что русские не имеют той потребности к чистоте и любви к красивому, как малороссы. Первая наша остановка была в городе Короче. Плохенькая почтовая станция с полусгнившей лесенкой и страшным идолом у входа; потешный станционный смотритель немного покрасивее идола; соловей в клетке, завешенный зеленой занавеской и поющий так же хорошо, как в саду у дедушки, но не делающий того же отрадного впечатления; лубочные картины, все нас интересовало, и мы, в ожидании лошадей, которых нам долго не подавали, вероятно, за неимением, все осмотрели.

В Харькове мы остановились на несколько дней; там мама́ повела нас знакомить с родными. В то время был губернатором ее двоюродный брат, граф А.К. Сиверс. Он жил в доме Бахметевых, в том доме, где мама́ прожила свою молодость. Из Харькова поехали к тете С. Н. Герасимовой, в Хорошев монастырь[100].

Она так рада была нашему приезду, так ласково приняла нас. Оттуда мы с тетей С. Н. поехали в Водолаги к дяде, Ивану Николаевичу Бахметеву[101]; у него также погостили, и там Бог помог мне избавить мама́ от страшного несчастья: потерять зараз двух дочерей, а может быть, и всех трех. Вот как это случилось: мы каждое утро ездили купаться; река была довольно далеко от дома, и нас дядя предупреждал, чтоб мы не удалялись далеко от купальни, так как речка, хотя и узкая, но очень глубокая и полна водоворотов. Мама́ вышла ранее всех, горничная была с нею, я возилась на берегу, разыскивая в песке камушки и раковины, забавлявшие меня, несмотря на мои 14 лет. Таня с Соней отплыли довольно далеко от меня, и я, видя, что Таня впереди, и зная ее отважность, крикнула ей: «Таня, не плыви далеко, помни, что сказал дядя!» — и опять занялась своими камушками... вдруг я услышала страшный, раздирающий крик... Я повернула голову по направлению крика, и что же я увидела? Саженях в 20 от меня, Таню и Соню, борющихся с водою... Вмиг я поняла, что Таня попала в водоворот и тонет.., а Соня хочет ее вытащить, но выбивается из сил... и в эту минуту я, кроме влечения скорей доплыть и вытащить Таню, ничего не испытывала, даже Господь избавил меня от страха и мысли, что мы можем утонуть! Это и спасло нас всех. Я бросилась к сестрам на помощь!.. приплыла к Тане, которая то шла под воду, то выскакивала, издавая страшные гортанные звуки, схватила ее под мышку и, видя ее порыв обхватить меня за шею, имела еще присутствие духа закричать ей: «Не трогай меня!» и таким образом, повернув к берегу, втащила ее в камыши, где она лишилась чувств... Я еще чувствовала себя сильной и хотела броситься к Соне, но, увидев, что к ней приплыла горничная на помощь, осталась, и тут только поняла, чему мы все подвергались, и моментально мне как будто кто подкосил ноги, я не могла

держаться на них и опустилась в камыши, где лежала Таня, которая приходила в себя. Соня присоединилась к нам, тоже испуганная и бледная, и мы все побрели навстречу к мама́...

Я не буду описывать Святые Горы, летнюю резиденцию бабушки Т. Б. Потемкиной, куда мы поехали из Водолаг, так как через несколько лет я опять вернусь туда, взрослой девицей, когда воспоминания мои о Святых Горах дороже мне и полней, когда я уже могла ценить и любить горячо ту, которая воздвигла вновь монастырь на Святых Горах и построила на них не один храм Божий!

Бабушка Потемкина предложила мама́ провести лето в ее маленьком имении, Макатихе, в 2 верстах от Славянска и в 14 от Святых Гор[102]. Мама́, конечно, приняла это предложение, и мы поселились в Макатихе на лето; каждое утро большой компанией ездили купаться в Славянские соленые озера (у нас гостили Бахметевы, две племянницы и племянник мама́, дети — брата ее Николая, круглые сироты). Весело и дружно проводили мы время: по субботам ездили все в Святые Горы, где нас встречала дорогая, добрая наша бабушка, Татьяна Борисовна; она так любила молодежь, так приветливо, так ласково смотрела на нас, что и наши молодые сердца не могли не отозваться на ее ласки, и мы все полюбили ее. Захлопотали сделать ей сюрприз, когда ожидали ее приезда в Макатиху. Николай Бахметев сделал великолепный транспарант, фонарики для иллюминации, а мы шили костюмы для живых картин, которые большею частью были библейского содержания. Впрочем, была одна картина романическая и которая очень понравилась бабушке — это Paul et Virginie, идущие под листом; Paul — была я, а Virginie — Соня Бахметева, подходящая под этот тип. Наш сюрприз удался как нельзя лучше, и самое для нас приятное было то, что обрадовал и утешил нашу добрую бабушку, ко-

торая всем рассказывала, как ее молодежь встречала и праздновала ее приезд в Макатиху.

Между тем отец вернулся из-за границы. Его ждали в Святые Горы. Сердца, любившие его, волновались и ожидали свидания. Меня он пожелал видеть первую, и мама отправила меня к бабушке, Т. Б. Потемкиной.

Когда я увидела этого могучего великана, плачущим так горько, как он плакал, я поняла, какой ад был в его душе. Сколько было в этих слезах жалости о потерянном, сколько раскаянья и сколько нежности ко мне! Когда мы успокоились от первого избытка чувств, я взглянула на бабушку — она, этот ангел доброты, не менее нас страдала... и я в эту минуту особенно сильно ее полюбила.

На другой день приехали сестры. За обедней, в домовой церкви, отец горячо молился, и когда запели «Тебе поем», он склонился на одно колено и горько заплакал, простояв так во время всей молитвы, нагнувши голову на руку. Мне так врезалась в память горячая молитва отца, что я всегда, когда слышу «Тебе поем», вижу его, и невольно душа моя располагается к молитве.

На возвратном пути из Малороссии в Огарево маму ожидало новое испытание и горе: разлука со своими девочками, и отчасти недобровольная! Но она, привыкшая покоряться разным невзгодам жизни, покорилась и тут и решилась, по советам родных отца, поместить сестер в институт; меня она оставила при себе, так как не в силах была остаться одна в Огареве, которое она не могла покинуть, не имея кому поручить хозяйство,— тогда эмансипация отняла возможность у благоразумных помещиков покидать имения на произвол судьбы. Больше всех бабушка, княгиня Голицына, восставала против домашнего образования, как не дающего диплома, который необходим бывает в жизни. Мамá, сознавая справедливость

этих слов, для блага детей, решилась пожертвовать своим душевным спокойствием и поместила Соню и Таню в Тамбовский институт[103], где была начальницей ее друг, Е. Д. Тимофеева, рожденная Краун[104], умная, образованная, хорошая и сердечная женщина, и ей она поручила своих девочек. Итак, наше Огаревское гнездышко начало расстраиваться!..

Мы с мама́, грустные, возвращались домой, оставляя за собою двух дорогих институточек в длинных камлотовых платьях[105] и беленьких фартучках.

Был октябрь месяц. Холодный ветер врывался к нам в карету и завывал грустную, осеннюю песнь... Не радостно было ехать домой, не все возвращались вместе, как выехали! Дорога становилась все хуже и хуже, тучи ходили такие черные и низкие, что можно было ждать снега, и мама́ тревожилась, что придется бросить карету. Подъезжая к Спасску, пошел хлопьями снег, землю так сковало, что карета наша прыгала с кочки на кочку, и ямщики, не жалея ни ее, ни наши бока, погоняли лошадей. Вдруг мы почувствовали, что как будто что-то оторвалось от кареты, и услышали крик горничных, которые сидели сзади в колясочке, а ямщик, не заметив никакой перемены, продолжал скакать. Я высунулась в окно, и что же увидела? На дороге, в нескольких шагах от нас, валялась колясочка, а из нее виднелись ноги наших двух горничных! Остановили ямщика, лакей побежал вытаскивать упавших и, к счастью, привел их невредимыми. Посадили их в карету и поехали. Зима настоящим образом начинала входить в свои права, все было покрыто снегом, и наша карета принимала все более и более печальный вид. Правда, она была древних лет, и мороз без жалости так ее пристукнул, что дверцы разъехались, пришлось их связывать веревками, и колеса еле-еле двигались... Стало темнеть, и ямщик сказал, что он и до Спасска (оставалось пять верст) не может довезти, а что тут есть предводитель

в первом селе, у которого можно попросить возок или сани. Мама велела ехать к нему. Подъехав к крыльцу, человек побежал просить ночлега для приезжей княгини Голицыной.

Гостеприимный хозяин сам выбежал на крыльцо принимать нас, но как мы ни порывались выйти скорей из кареты — невозможно было. Веревки распутали, а дверцы не открывались — так они примерзли, что потребовался топор, с помощью которого мы, наконец, могли вылезть из нашей злосчастной кареты. Только русский помещик способен незнакомых ему людей обогреть, накормить, с таким радушием принять, как мы были приняты в семействе г-на Бедряги[106]. На другой день нас снабдили возком, и мы продолжали свой путь и благополучно доехали до Огарева.

Можно себе представить, как в Огареве было грустно и пусто без сестер, как мамá тосковала и беспокоилась о них, с каким нетерпением ожидались известия из института. Но город был от нас далеко, почта ходила медленно, железных дорог не было, так что все это прибавляло беспокойства любящему сердцу матери. Из института вести были не особенно утешительные. Таня, бывши очень слабого здоровья, постоянно была чем-нибудь больна, и это была главная причина, по которой мамá, через три месяца по вступлении сестер в институт, решила взять их назад. Свои мученья, беспокойства, тоску она перенесла бы, ей этому не учиться было, но рисковать отнять последнее здоровье у дочери из-за удовольствия, что она получила бы диплом, мамá не решилась, и с верой и с убеждением, что Господь не оставит ее и поможет ей окончить воспитание и образование дочерей дома, она, отслужив напутствующий молебен, отправила за сестрами Аграфену Ивановну; и они приехали к празднику Рождества Христова, внося к нам радость и веселие. Мы опять зажили нашей мирной огарев-

ской жизнью, охраняемые заботливостью нашей матери и ее молитвами. Мамá всегда боялась мужского элемента для огаревского женского монастыря и почти с таким же страхом встречала каждого вновь появляющегося мужчину, как встретила раз станового Несмелого, поэтому она избегала учителей, но пришло все-таки время, когда следовало распространить программу наших занятий, и мамá пригласила для нас учителя — старичка с семейством, состоящим из жены, дочери (карлицы) и сына. Детство уходило... Мы серьезно стали сознавать необходимость знания, стали с интересом учиться, чему очень способствовал наш учитель, Илья Иванович Трепте. Он был человек очень образованный, относящийся с любовью и пылкостью юноши ко всем предметам, преподаваемым им. Соня совсем сделалась серьезной барышней, редко принимала участие в наших играх и сидела где-нибудь в уголке, с сочинениями любимого своего в то время поэта — Некрасова.

По примеру прежних лет, Новый год мы поехали встречать в Новгородскую губернию, в село Оброчное, к двоюродному брату матери, Александру Яковлевичу Потемкину*[107], который обещал своим племянницам и соседям бал с оркестром, выписанным из Нижнего. Тогда в деревнях всем помещикам жилось лучше, чем теперь, а у Потемкина бывало веселей, чем у кого-либо, так как хозяин дома не только любил веселить молодежь, но и сам не отставал от нее. Несмотря на свою полноту и большой рост, он был грациозен, легок и танцевал артистично; любил также доказать молодежи, что не умеют они так танцевать, как танцевали в его время. Да и правда — с ним

* А. Я. Потемкин был женат на графине Варваре Александровне Толстой, очень умной и достойной женщине; он был сын героя Отечественной войны — Якова Алексеевича Потемкина, а мать его была Варвара Димитриевна Бахметева.

невозможно было состязаться: трудный танец «матлот»[108] он исполнял не хуже любого балетмейстера.

Вообще дядя Потемкин был человек с большим вкусом и интересовался всем: была у него прекрасная библиотека, был он хороший хозяин, а уж садовод, каких трудно найти, и эта отрасль в Оброчном в особенности процветала. Он не только был любитель-садовод, но и знаток; у него были редкие оранжереи и сад фруктовый; 25 садовников, кроме главного немца, ухаживали за чудными его оранжереями. Когда съезжались к нему гости, он с гордостью водил их туда, и было на что полюбоваться. На балах в Оброчном барышни украшались его цветами, но не все, а лишь только избранные, так как он каждым цветком дорожил, как брильянтом.

Итак, к новому 1865 г., все мы собрались у Потемкиных, куда съехались и все соседи, дальние и ближние, и готовились к балу. Так как в деревне никогда рождественские праздники не проходили без костюмирования, то мы захватили с собой из Огарева разные костюмы, и я взяла свой синий сарафан.

Я с детства любила до страсти русскую пляску, но в большом обществе никогда не плясала. Во время самого разгара бала, под Новый год, кто-то из моих друзей, кажется, Ольга Философова[109], подала мысль заставить меня проплясать «русскую». Оркестр заиграл трепака! Когда я услышала любимые, родные звуки, исполняемые у нас, в Огареве, гармонией или фортепиано, а тут оркестром,— душа у меня загорелась, дух захватило, а ноги сами заходили! Уговаривать меня плясать, конечно, не надо было! Я сняла свой бальный туалет, сбросила с головы цветы, заплела свои волосы в косу, надела сарафан, кокошник с фатой — и не шла, а летела в зал, под звуки родной моей пляски!..

Нашелся кавалер, такой же любитель плясать, как я, высокий, статный блондин Н. Н. Панютин, стрелок

его величества, и мы, взявшись за руки, начали с плавной, грациозной «русской», а кончили под удалую «Ах! Настасья!..»

Недаром каждая нация имеет свою родную пляску, которую изучить нельзя, если нет врожденной к ней страсти. Пляшущие вдохновляются народными звуками... в каждом незаученном их движении виден характер нации. Возьмите «тарантеллу», пляску южную, горячую, как сами итальянцы; возьмите вальс: методичный, аккуратный и сентиментальный, как немец; а «мазурка», элегантная, бьющая на эффект — характерная черта поляков, для дам же «мазурка» — это обширное поле для грации и кокетства, в чем и отличаются польки. Наша русская пляска сначала плавная, грациозная, спокойная, как и наш брат,— спокоен и мягок, пока не расшевелят его «ретивое»; так и в русской народной пляске, звуки «трепака» пробуждают удаль.

Меня никто не учил плясать, но я была настоящая «русская девушка», выросшая в русской деревне, и когда, бывало, слышала я песню «Шла девица за водой, за холодной ключевой», то невольно руки мои поднимались над головой и хотелось плавно, как лебеди плывут по воде, неслышно выступать, не касаясь почти пола... Когда же такая музыка переходила на «трепак» или «барыню» — вскинешь, бывало, плечами, посмотришь на своего кавалера... и пойдешь плясать так, что никого и ничего уже не видишь, отдаваясь всей душой родным звукам!.. Только сердце заставляло бросать пляску — так сильно оно билось! Но тогда, на бале в Оброчном, другие звуки пробудили меня: шум аплодисментов и крики: «Браво! браво!»... Что-то новое, не испытанное доселе: — «успех», закружил мне голову, и я, чтобы не упасть, подала руку своему кавалеру, и, пройдя с ним лицом к публике всю залу на каблуках (так кончала я всегда свой

«трепак»), мы отвесили всем низкий, русский поклон, за что получили еще аплодисменты и «Браво!»

Все обступили меня с просьбою еще проплясать, и дядя, не любивший отставать от молодежи, предложил быть моим кавалером. Ольга Ф-ва, фрейлина императрицы Марии Александровны, подошла ко мне и сказала: «Ты так хорошо пляшешь, что можешь плясать и перед самим государем — надо это когда-нибудь устроить!..» Мама, услышав это, испуганно сказала: «Chère Olga! Pourquoi lui montez-vous la tête?!»*

Так встретила я Новый год в сарафане, окруженная кавалерами, которые по очереди считали «своей обязанностью» делать комплименты пятнадцатилетней девочке, и прощалась я — не сознавая тогда этого, со своим счастливым, дорогим детством, со своими чистыми, светлыми думами, бесхитростными забавами и мечтами!.. Неумолимое время уносит все за собой — так оно уносило и наше детство....

Воспоминания мои о детстве, юности, молодости так тесно связаны с дорогим братом Евгением, что я, прощаясь с детством, с любовью уделяю страничку в моих воспоминаниях для доброй памяти о нем. Да, он был для нас и братом, и другом, и отцом — он жил нашей жизнью: он радовался, когда мы были веселы, и был печален, когда мы плакали!.. Заботы, мечты его были о нас и для нас.

Для матери он был самым нежным, преданным сыном, и она в нем «души не чаяла». Все домашние также любили «молодого князя»; отношения его к прислуге и живущим в доме матери были самые сердечные и симпатичные — без ласкового слова или шутки он никогда не проходил мимо кого-либо. Доверчивый, любящий и снисходительный, он часто сталкивался в жизни с людьми, которые пользова-

---

* Дорогая Ольга! Зачем вы ей кружите голову?!

лись его доверием, добротой и обманывали его; но эти печальные уроки не уничтожали в нем любви к людям и желания им добра — он прощал, не помнил зла и продолжал верить в добро и людей! О нем говорили, что «он в отъявленных, скверных людях умел находить тайник свежести и хорошие стороны». Вследствие спартанского воспитания, данного ему отцом, в нем выработалась, с раннего детства, отважная, сильная натура, любящая сильные ощущения; страха для него не существовало, и он любил преодолевать опасности: так, у отца нашего, в Салтыках, была организована пожарная команда, в которой брат, бывши еще мальчиком, принимал деятельное участие, а когда, бывало, впоследствии, взрослым человеком, он слышал набат или видел зарево — то не мог оставаться безучастным и летел на место пожара тушить и спасать людей от огня! Не раз приходилось ему спасать и тонувших. Физически он был закален, но нравственно — был мягок и чувствителен. Морская служба была ему по душе, и когда, по семейным обстоятельствам, он должен был оставлять ее на время, то тосковал по морю и товарищам. В то время, когда брат воспитывался в Морском корпусе, директором был Воин Андреевич Римский-Корсаков[110], которого он любил и глубоко уважал. Это был примерной честности и справедливости человек. Корпус под его надзором выпускал молодежь хорошо воспитанную, с хорошими задатками и правилами. Воспитателем брата был Алексей Николаевич Епанчин[111], впоследствии директор Морского корпуса, которого он также любил и уважал. Немудрено, что, вручая детей хорошему начальству, родители получали любящих сыновей, верующих в Бога, честных юношей, готовых служить отечеству верой и правдой.

Когда брат вышел из гардемаринов в мичманы, мать хотела прибавить ему содержание и вместо трехсот рублей назначила пятьсот, но он от этого от-

казался, сказав, что ему «совестно получать больше своих друзей-товарищей, людей небогатых», и просил эти деньги употребить для сестер. Когда отец отдал нам свое состояние, брат отказался в пользу нас от своей части. Бескорыстный, правдивый, добродушный, он был любим всеми, кто хорошо его знал; но в большом обществе, где его мало знали, он терялся, так как был застенчив и рассеян; в тесном же кругу был остроумен и забавен.

Остроумие и любовь пошутить и пошалить он унаследовал от отца; талантов же отцовских он не наследовал, но страстно любил музыку, которая трогала его иногда до слез. Он интересовался развитием в нас талантов и поощрял их, заботясь о том, чтобы ничего нам не доставало для изучения музыки. На мой голос он возлагал большие надежды и с любовью отца слушал меня; а когда, после спетого мною его любимого романса, он подходил поцеловать меня, я видела в глазах его слезы... Вот очерк его наружности и характера, который я нашла в старой тетради его друга детства, Катеньки Феодоровой, и который верно рисует его молодые годы:

«Высок ростом, имел черты правильные и красивые; вид мужественный и скромный вместе. В обществе казался он даже несколько угрюм, смотрел задумчиво и рассеянно и редко кому улыбался; зато улыбка его была приятна, как от скупого дорогой подарок; только в приятельском кругу скупой делался расточителем. Незнакомые почитали его холодным и мрачным — он весь был любовь и чувство. Был чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, его необычайная сила рассудка, коими одарила его природа, останавливала его в пределах умеренности. Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался победителем, проявлялась и в речи его — он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил

плавно, чисто, безостановочно, та же чистота была в душе, в слоге и даже в почерке пера».

Брат мой десятилетним мальчиком был свидетелем Крымской кампании*, а через 23 года сам был участником в последней турецкой войне. 11 июля 1877 г. на «Весте» видел смерть в двух шагах от себя, защищая собою или, вернее сказать, служа щитом капитану Баранову. Он знал, что храбрый командир «Весты» Баранов в минуту опасности был сила могучая, двигающая и воодушевляющая героев, и оберегал его жизнь, жертвуя своею для спасения «Весты» и ее команды**.

Когда была объявлена война 1877 г., брат не служил во флоте и пошел добровольцем. Мать его благословила идти на войну, находя, что место ее сына было там, где сражались за христиан его товарищи!.. И она, эта мать-героиня, провожая единственного, горячо любимого сына, была спокойна, не проронив даже слезинки, полагаясь на милосердие Бога!.. Она поддавала бодрость духа и товарищам его; ехали с ним: капитан Баранов, братья Перелешины, Кротков и другие; кто-то из них сказал ей:

— Если бы все матери и жены провожали нас так спокойно и героично, как вы, княгиня, провожаете вашего сына, то нам легче было бы идти на войну и умирать!..

Надежда и упование на Бога оправдались и молитвы матери услышаны были Им. Вот письмо ее сына после сражения 11 июля 1877 г.:

---

* Гл. VI, с.. 61; см. «Русскую старину», апрель 1897 г.

** Долг мой, доносил Баранов, 12 июля 1877 г., заставляет меня упомянуть о самоотвержении князя Голицына-Головкина; заметя, что мостик в особенности осыпается снарядами и что некоторые из неприятельских снарядов покрыли уже кровью весь мостик, деблиндированный мною от коек, ввиду прикрышки ими машины, Голицын под всякими предлогами старался заслонить меня, желая мне служить щитом.

Николаев, пароход «Веста», 28 июля 1877 г. «Спасибо вам, милая дорогая мамаша, за ваше доброе, хорошее письмо. Богу угодно было меня сохранить каким-то чудом: везде, где я был и кругом меня, были смерть и гибель, а я остался почти невредим. Я контужен в обе ноги, но так легко, что об этом не стоит и говорить. Из тех товарищей, которые с нами вместе ехали, не осталось уже ни одного, кроме командира и меня. Старший Перелешин контужен в голову и оставил пароход; брат его, милый, симпатичный человек, смертельно раненный в ногу, на другой день сражения умер после ужасной, мучительной операции; ему отняли ногу почти у самого паха. Кротков, сильно контуженный в голову, кроме того, получил бесчисленное число ран. Сюртук его избит, как решето. Кротков также нас оставил. Командир получил три контузии.

Трусов у нас не было, но были герои, на которых можно было молиться, так они были великолепны, столько было в них спокойной, сознательной отваги. В течение двух часов мы считали гибель свою неизбежною, и, несмотря на это, ни один человек не упал духом и исполнял свои обязанности, в самом деле, как на учении. Ваш сын был не последним — про него сказали, что он «сумел шиковать своею храбростью». Когда кончилось сражение, длившееся почти шесть часов, нервы и горечь потерь взяли свое: я зарыдал, как ребенок!

Я всегда понимал и понимаю важность значения моей жизни, но вместе с тем после нашего разорения, вследствие которого я был под гнетом тяжких незаслуженных нареканий,— не могу не радоваться, что Богу угодно было дать мне случай показать свою храбрость и сделать ее известной всей России. Служебные дела мои пошли необыкновенно быстро и хорошо. В один месяц я получил чин, Владимирский крест с бантом и мечами, пожизненную пенсию, и на-

столько себя зарекомендовал, как морской офицер, что уже назначен старшим офицером «Весты».

Скажу вам по правде, дорогая мамаша, что намерен я быть теперь осторожнее и не собираюсь слишком подставлять своего лба. Такая счастливая удача и такой благополучный исход, вероятно, не повторятся, а я надеюсь быть полезным и близким дорогим людям и, может быть, России. Вы помните, дорогая мамаша, как часто мне удавалось завоевывать симпатию, здесь же это превосходит все прежнее, и меня положительно носят на руках. Если останусь жив, служба моя после войны пойдет совсем хорошо. Целую ваши ручки. Ваш сын Евгений».

Через 10 лет после славного боя «Весты», а именно 10 июля 1887 г., брат мой был в Севастополе, куда нарочно поехал, чтобы поклониться в этот достопамятный день могилам своих убитых товарищей и помолиться за них; как мне помнится, он там был один — никого не было из его товарищей. 2 сентября того же года его самого не стало!.. Он скончался в своем майоратном имении Полтавской губ., местечке Константинове, на 43-м году. Его преждевременная кончина тяжелым, непроглядным горем отразилась на всей нашей семье!.. Такого сына и брата терять было нелегко!

XIV

Татьяна Борисовна Потемкина.— Ее характеристика, религиозность и отношения к царскому семейству.— Любовь и уважение к ней императоров Николая I и Александра II.— Благотворительность Т. Б. Потемкиной.— Отрывок из ее воспоминаний

В предыдущих главах моих воспоминаний я имела уже случай говорить о своей двоюродной бабушке, Татьяне Борисовне Потемкиной, рожденной княжне



Татьяна Борисовна Потемкина
(рожденная княжна Голицына)

Голицыной. Отец ее, князь Борис Андреевич Голицын, мой прадед, был женат на княгине Анне Александровне Грузинской.

Жаль, что перо мое бессильно описать, как бы хотелось, эту дивную, редкую душу, которая была в мире исключительно для добра! Я боюсь, что все сказанное мною о Татьяне Борисовне будет слишком слабо! Но как художник, рисующий святое лицо, не может не вознестись душой в лучший мир, так и я, вспоминая о ней, прошу Бога наставить меня на верное описание той, которая без устали служила ему в продолжение всей своей жизни и так верно понимала значение человека в мире! Обладая в жизни всем: красотой, богатством и высоким положением, Татьяна Борисовна не брала от жизни ничего для себя, а жила исключительно для других, отдавала все, что могла, не привязываясь ни к каким благам жизни... Как путник, спешащий домой, не рвет по дороге цветов, не заглядывается на них, так и она, живя с той мыслью, что дом ее не на земле, не заглядывалась ни на что земное!..

Вся ее жизнь, несомненно, состояла из ряда чистых чувств и возвышенных порывов души. Она не любила, чтобы ее хвалили, и когда при ней говорили об ее добрых делах, я замечала тогда неудовольствие на ее кротком лице. Она носила в сердце слова Спасителя, и ей больно было, что по своему положению не могла благотворить тайно. Когда ее превозносили, она как бы слышала слова Спасителя: «Истинно говорю вам: они уже получают награду свою», и омрачалось лицо ее, слыша земные похвалы...

Из детства бабушки Татьяны Борисовны я ничего не знаю, за исключением одной фразы, сказанной кем-то при взгляде на нее «Dieu a sourit, quand Il a créé cet enfant!»*. Из ее ранней молодости я знаю

*Бог улыбнулся, сотворив этого ребенка.

случай, рассказанный мне ею, который утвердил ее в православии. Воспитанные иезуитами, ее братья и сестры были склонны в молодости к католицизму, но душа Татьяны Борисовны не находила в нем пристанища и искала правды и истины.

Пробыв долго в Швейцарии, она много слышала проповедников, с которыми познакомилась, много говорила с ними и окончательно предалась протестантизму; но и там ее горячая, пылкая душа не могла найти теплоты и отрады. Ее мучило то, что она считала себя отступницей от веры, в которой родилась, а еще более то, что она огорчала этим свою мать, которая была истинно православная. Она молилась и просила Бога, чтобы он открыл ей истину и наставил ее. Господь услышал ее чистую молитву. Вернувшись в Россию, во Владимирскую губернию, село Симы[112], Т. Б. Потемкина заболела тифом и во время болезни видела сон: лежит она больная, около ее кровати стоит преподобный Сергий, а немного поодаль Божия Матерь, но отвернувшись от нее. Больная захотела заглянуть ей в лицо, но по мере того как она всматривалась, Божия Матерь поворачивала к ней грустное лицо Свое... Тогда преподобный Сергий сказал: «Что ты делаешь? Владычица тебя возлюбила, а ты не почитаешь Ее; встань, пойди, бросься к Ней в ноги, Она исцелит твое больное тело и душу!» Татьяна Борисовна встала, бросилась в ноги Божией Матери и проснулась... Проснувшись, она горько плакала и, рассказав свой сон матери, просила послать скорее во Владимир за чудотворной иконой Божией Матери, которая и принесла ей мир душевный.

С этого дня она нашла правду и подтвердились слова Спасителя: «Блаженни алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Замуж Татьяна Борисовна вышла очень молодой, за Александра Михайловича Потемкина, человека очень богатого, скромного, не имеющего блестящего

положения в свете. Мать его была рожденная Энгельгардт, родная племянница светлейшего князя Потемкина, которая вторично вышла замуж за князя Юсупова. Татьяна Борисовна мне сама рассказывала, что первые годы ее замужества ей было трудно и горько, что к такому близкому человеку, как муж, с которым должна была делить радости и горести,— кроме равнодушия, ничего не чувствовала. Она просила Бога, чтобы Он вселил ей любовь к мужу, и слова Спасителя: «Просите и дастся вам» вновь оправдались на ней. Молодая красавица так горячо полюбила своего, хотя и достойного, но с тяжелым характером мужа, что, прожив 53 года вместе мирно, благочестиво, они были так нежны друг к другу, что в редких молодых супругах светится такая любовь, какая светилась в их потухавших глазах...

Бабушка и ее сестры были с детства приняты интимно при дворе государыни Марии Феодоровны, так что они с великими княжнами и великими князьями были в самых дружеских отношениях. Сестры ее, как старшие, были пожалованы во фрейлины, а она, вышедши замуж очень молодой, не получила этого почетного звания, и к тому же, вышедши замуж за человека, не имеющего чина, допускающего приезд ко двору, не имела права на посещения царской фамилии, но, видя их любовь к ней, продолжала посещать интимно, избавляя себя от всех выходов и парадов. Это было ее исключительное положение в царствование императоров Николая I и Александра II. Она пользовалась таким расположением и любовью наших цариц, что в какой бы час ни вздумала войти во дворец, ей все двери отворялись без доклада.

В конце 40-х годов Александр Михайлович Потемкин был выбран в петербургские губернские предводители дворянства, но жену его земные почести не занимали, и она продолжала жить в большом свете не с целью показать себя, свои туалеты или хлопо-

тать о повышении кого-либо из родственников, а все с той же целью: просить за несчастных, навещать больных, кого утешать, кого наставить и обратить на путь истинный. Она часто ездила с Евангелием во дворец, читала и рассуждала там о божественном слове. Император Николай I очень любил бабушку, называл ее: «моя игуменья» и никогда не отказывал в ее просьбах. Татьяна Борисовна рассказывала мне, что ехала к государю с такой покойной душой, с такой уверенностью, что в его благородной душе и ясном понимании дел всегда найдет отголосок и просьба ее не останется без исполнения. Она очень любила императора и с таким восторгом говорила мне об его благородстве и светлом уме, но грустила о том, что многие его не понимали и судили совершенно ошибочно. Твердость его характера не мешала ему иметь замечательно доброе и нежное сердце. Мне рассказывали, что в день присяги одного из великих князей, кажется, Николая Николаевича, бабушка поехала на хоры с великой княгиней Марией Николаевной[113], которая была в трауре и не могла участвовать в празднестве. Император Николай Павлович, увидя Татьяну Борисовну на хорах, послал спросить, почему она не внизу, где должно быть ее место.

— Когда я была молода,— отвечала она посланному,— я не имела права быть в свите государыни, а теперь в мои годы поздно начинать придворную жизнь; благосклонность же царя и царицы ко мне так велика, что позволяет мне быть между ними без этикета, и больше этого мне ничего не нужно! Прошу только позволения у государя продолжать пользоваться своим положением в его августейшей семье.

Хотя государь Александр Николаевич так же очень любил и уважал бабушку и выслушивал все ее просьбы с той же готовностью исполнить их, как бывало и августейший его отец, но она ехала во дворец далеко не с той уверенностью, как прежде. Импе-

ратор Николай, выслушав ее и рассмотрев самолично дело, о котором она просила, своим золотым сердцем и умом решал сам и всегда в пользу просящей, которая шла к своему государю от имени Христа не для себя, не для счастливых, а для несчастных... Император Александр II, с тем же золотым сердцем, был готов осчастливить как просительницу, так и несчастных, за кого она просила, но сам лично редко решал просьбу, и Татьяна Борисовна возвращалась из дворца часто с одной только надеждой, что сердце государя перевесит в ее пользу противоположные доводы.

Незадолго до своей кончины она хлопотала о каких-то семьях самоедов и по этому поводу писала одному из министров. В чем состояла ее просьба — я не знаю, но знаю только, что она получила ответ довольно грубый, в котором была также просьба не беспокоить министров такими просьбами, которых нельзя принять.

«Ваше превосходительство,— отвечала она,— я убеждена в справедливости вашего требования и принимаю со смирением ваше замечание, но обещать вам не хлопотать о тех несчастных, которые сами не могут иметь доступа к царю или министрам,— я не могу! И если из десяти просьб моих одна будет справедлива и примется вами, то для меня это великая награда за хлопоты о несчастных, нуждающихся в правосудии».

Прошло 19 лет со дня смерти бабушки, и сколько уголков в России, где имя ее и теперь вспоминается с любовью и благодарностью!

На днях одна моя знакомая получила письмо из Сибири от неизвестной ей старушки, которая пишет, что много обязана Татьяне Борисовне своим счастьем и память о ней продолжает жить в ее старом сердце.

«Но,— прибавляет старушка,— недолго остается мне жить, поэтому, имея портрет Татьяны Борисовны, который не покидает меня, я желала бы передать

его при жизни такой особе, которая так же любила бы мою благодетельницу, как я, и для которой портрет Татьяны Борисовны был бы так же дорог, как мне!»

При этом старушка рассказала, как Татьяна Борисовна выручила из беды ее мужа. Он приехал в Петербург, оставив семейство свое в Сибири, хлопотать о месте. Прожил он в столице несколько месяцев и получил только одни обещания. Истратив все до копейки и даже задолжав, так что вернуться ему было не с чем, пошел он в Казанский собор помолиться и, став на колени перед Владычицей и открыв ей свое наболевшее сердце, горько плакал...

Татьяна Борисовна, часто бывая в Казанском соборе, вошла также помолиться. Увидя горько плачущего и никогда не проходя мимо горя, не заметив его, она спросила:

— Скажите мне, о чем вы плачете? Я хотя и маленький человек, но, может быть, могу вам быть полезной.

Он рассказал свое горе. Она пригласила его к себе, и через несколько дней он получил все желаемое и возможность доехать до Сибири. Уезжая из Петербурга, он увозил ее кроткий, милый образ и, приехав домой, научил семью свою горячо любить ту, которая вернула им счастье и покой. Портрет этот завещается теперь мне.

Много воздвигла и украсила она храмов в свою жизнь. Ее заботами на средства ее мужа был возобновлен в Харьковской губернии монастырь Святые Горы, куда до сих пор стекается многочисленная толпа богомольцев и любителей природы. Там Татьяна Борисовна принимала государя Александра Николаевича с государыней Марией Александровной и их детей; там она отдыхала каждое лето от шума столичной жизни. Бабушка любила тихую деревенскую жизнь рядом с монастырем, где часто и с умилением

слушала монастырский звон колоколов, призывавший к молитве...

Дом Татьяны Борисовны был открыт для всех: начиная с государя, удостаивавшего ее своим посещением, кончая последним нищим,— все переступали ее порог. Ни один архиерей не бывал в Петербурге, чтобы не посетить ее. Будучи попечительницею тюрем, бабушка знала почти каждого преступника, говорила с ним, стараясь обратить его на путь истины. И как любили ее эти порочные люди! Они целовали ей руки, платье, готовы были целовать и ноги... Я никогда не забуду первую обедню, которую прослушала я с ней вместе в тюремной церкви. Хор состоял из детей преступников; это обстоятельство сильно растрогало мое, тогда молодое, сердце, но когда после обедни я увидела толпу этих несчастных, страшных на вид преступников и преступниц, бросившихся к ней с такой любовью целовать руки, платье, чуть не следы той, которая приходила их утешать и учить,— я готова была сама броситься перед ней на колени и благодарить ее за тот луч любви, который она сумела пролить в их ожесточенные сердца!!.. Те из них, которым оковы и решетки мешали подойти к ней, все-таки заволновались, желая приблизиться к ней и проводить ее благодарными взорами!..

Она, как мудрая дева, не гасила своего светильника в ожидании Жениха... Она со страхом ждала полночи и боялась не быть готовой, когда раздастся крик: «Жених идет!..»[114] Как истинная христианка, она не зарывала талантов, данных ей Господом. Не будет ли она с теми, которым скажет Господь: «Приидите благословенные отца моего! Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира! Ибо алкал я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Евангелие Матв., гл. 25).

В дополнение к характеристике бабушки и ее религиозного настроения привожу отрывок из ее воспоминаний, найденный после ее смерти*.

«...Я ужаснулась и испугалась своему неверию. Страшно стало, что я так долго могла сомневаться. На этот раз я приняла образ с горячей верой, которая была мне так необходима. Сердце мое раскрылось для нового чувства, тьма неверия заменилась в нем светом — я наконец уверовала! Вскоре мне представился случай еще больше убедиться в чудотворной силе образа и испытать мою веру в него. Моя горничная, беременная уже шесть месяцев, почувствовала себя нездоровой вследствие чрезмерного усердия при уборке моих комнат в Гостилицах; не щадя себя, она двигала мебель и прибивала мои портретики. Мысль, что ее усердие ускорило ее роды, меня ужасно мучала. Я прибегла к моему образу и положила его на больную. Но боли ее увеличивались со страшной быстротой, и я приходила в отчаяние, что не могла принести никакой пользы бедной страдалице. Но не успела я выйти от нее и дойти до своей комнаты, как услышала, что кто-то зовет меня:

— Идите скорей, больной Бог дал живого ребенка...

Это было положительное чудо! Я прибежала, и, к моей великой радости, ребенок жил достаточно долго, чтобы можно было его окрестить, а я была его восприемницей. Вот первое чудо, ниспосланное Господом, для уничтожения моего неверия. Это было перед отъездом моим в Крым. Я уехала осенью, а образ мой был на мне. Не знаю, было ли то от случайного удара или от чего другого, но, приехав в Крым, я заметила на груди у себя гланду и думала, что образ, которого я не снимала во время дороги, причинил мне эту боль. Я сняла его и поставила в образницу. Через несколько дней, по приезде нашем в Крым, я услыша-

* Отрывок написан по-французски; здесь же помещается перевод.

ла рассказы об одном силаче-плотнике, который мостил полы и кончал работу в нашем доме; некоторые подробности о жизни этого человека навели на меня ужас; он уверял всех, что имеет сношения с нечистой силой. От этих рассказов страх часто охватывал мою душу, и мысли, одна одной черней, невольно приходили мне в голову. Мы жили совершенно одни на берегу моря, в октябре месяце: ни церкви, ни общества, ни развлечений! Одна грустная осенняя природа, да притом еще разные неудобства и лишения. Редкие хорошие деньки были нашим единственным развлечением. Однажды, сидя у окна, я увидела человека, проходившего мимо и сгорбленного почти до земли. Я спросила, откуда и кто он, и мне ответили, что это тот самый силач-плотник и что тяжелая болезнь так изменила его. Теперь он дотащился до лесу, где упал без чувств и откуда потом его подняли и принесли домой. Вся ночь прошла в страшных тревогах. В соседстве не было священника, а потому, желая подать больному какую-либо духовную помощь, у меня попросили мой образ. Я дала его, но с большой неохотой; мысль, что к моему образу будет прикасаться человек вполне неверующий, страшила меня и колебала мою веру. Его агония была ужасна! Он видел все свои грехи, написанные на стенах, с трудом пробовал он креститься и умер в страданиях душевных и телесных. Мне возвратили мой образ.

Теперь я сознаюсь, к моему великому стыду, что не заслуживала я имя христианки. После этого случая вера моя поколебалась: мне казалось, что от прикосновения к этому грешному человеку образ утратил свою святость. Я опять поставила его в образницу и уже долго не дотрагивалась до него. Итак, легкомысленность, недоверие, сомнения часто пробуждались во мне и овладевали мною. Я сознавала, что все эти пороки завладели мною и мешали укорениться вере и многим другим качествам, присущим человеку. Я

страдала своим неверием, но не решалась никому поверить его. Через месяц я получила письмо от моего друга, князя Александра Голицына. Он писал мне, что у него есть одна знакомая дама, которая очень мною интересуется по виденному ею дважды сну, и этот сон касался меня. Ей снилось, будто бы я стала неверующей, утратив веру в мой образ, и что неблагодарность — большой грех! Она получила во сне приказание передать мне, чтобы я снова уверовала в святость образа. После этого нового доказательства Божьего ко мне милосердия я не могла уже больше сомневаться. Вера и горячая любовь к Господу наполнили мою душу, я опять надела образ и испытала в скором времени на себе силу его святости. В первый год моего пребывания в Крыму я страдала болью в груди. Кроме того, я страшно скучала, грустила, не видя своего мужа, который был тоже болен и жил в отдельном маленьком домике.

Единственная польза, приобретенная мною во время жизни в Крыму, была та, что я сознала все свое ничтожество, все могущество Вседержителя и все его милосердие ко мне, грешной. Во время этой однообразной жизни я прочла много духовных книг из библиотеки брата моего Андрея, а в том числе и сочинение св. Иоанна Клемака, которое я прочла с наслаждением. Этот отец церкви дает замечательно хорошие наставления в монастырской жизни и сам показывает нам пример в постоянном усовершенствовании христианских добродетелей. Это произведение было вполне ново для меня и было настоящей духовной пищей для моей души. Однако я все еще продолжала страшиться своей будущности. Благодаря стараниям и знанию моего врача моя болезнь поддалась лечению, и я стала быстро поправляться и к приезду императрицы уже совершенно выздоровела. Я приготовила все для принятия августейшей гостьи, и этот царственный визит, продолжавшийся два дня, был

для меня самым приятным развлечением во время моей болезни и разогнал мои мрачные думы. Императрица уехала поздней осенью, а потому и наш отъезд был задержан, и нам пришлось провести в Крыму третью зиму. Наконец прошла эта третья зима, и нам пора было возвращаться в Россию.

Теперь возвращусь к эпохе бывшей раньше моей жизни в Крыму. Я буду говорить об императоре Александре I. Я долго опасалась этого нового нашего дружеского сближения, которое могло принести мне больше вреда, нежели пользы. Я сознавала, что смирение есть лучшее достоинство человека, а потому и хотела жить в полнейшей неизвестности, но желание быть полезной другим мешало мне в этом. Я старалась укрепить свою веру, а иначе, как при сообщении с людьми, я этого сделать не могла.

Император Александр, у которого религиозные взгляды и убеждения менялись очень быстро, часто бывал у меня и в разговорах со мной старался разъяснить свои сомнения. Он жаждал уединения и чуждался толпы, в семье же своей он не находил сочувствия и часто ее покидал. Он уезжал в Царское Село и там занимался важными государственными делами. Часто, бывало, все думали, что он уехал из Петербурга, а он между тем проводил вечер у меня, заранее потребовав на это разрешения. И я принимала его одна, без угрызения совести, так как наши отношения были чисты перед Богом. Государь желал знать, что нового узнала я от моих женевских друзей*. Я ему передавала их переписку, но вскоре я заметила, что протестантизм уже утратил над ним свое влияние, а истины нашей церкви проникли в его душу и он стал приверженцем православия. Он желал, чтобы и я последовала его примеру, и советовал мне познакомиться с Фотием, имеющим на него большое влияние[115]; он

* Протестантских проповедников.

говорил мне: «Это апостол или мученик!» Я отвечала, что если на то воля Божья, то я встречусь с этим человеком на своем жизненном пути, но мне не хотелось искать новых знакомств только для того, чтобы узнать их взгляды и убеждения; моя молодость не позволяла мне этого, и мне приходилось довольствоваться теми людьми, которых Господь посылал мне. В числе их был отец Палладий, архимандрит Невской лавры, человек глубоко верующий. Этот почтенный старец понял меня без слов, и мне не надо было даже раскрывать перед ним свою душу. Я довольствовалась знакомством с этим служителем Господа, а любовь его к Спасителю заставляла меня глубоко чтить его и дорожить интимностью наших отношений. Он часто говорил мне:

— Не люби меня, но люби Христа.

И каждое его слово дышало горячей любовью и верой в Спасителя. Мое сердце отдыхало в беседах с ним, и я не скрывала от него ни моих впечатлений, ни мыслей, приобретенных мною в Женеве. Он считал вполне естественными ту любовь и благодарность, которые я чувствовала к людям, обратившим меня к Богу; он не отвергал и не порицал эти мои чувства. Однако он часто указывал мне всю нетвердость моих убеждений и недостаток веры. Его речь, дышащая такой добротой и снисхождением к человеческим недостаткам, укрепляла то религиозное чувство, которое внушили мне мои женевские друзья. За границей я встретила человека, положившего доброе начало в сердце моем и направившего меня на истинный путь спасения; в России же нашелся человек не только продолжавший делать начатое, но он укреплял мою слабую веру и поддерживал в минуты сомнения. Он открывал мне и тайны православия, в которых я была тогда так несведуща.

Необходимо мне вспомнить один случай моей жизни, очень обыкновенный, но имевший в будущем хо-

рошее влияние на многое. Это было в 1824 г. Один иеродиакон, по имени Исаия, привез мне письмо от графини Орловой. Она писала об этом монахе, который, по ее словам, жаждал спасения и желал посвятить себя Богу на том месте, где прежде был монастырь; теперь же местность эта была пустынна и принадлежала брату моей свекрови, г-ну Энгельгардту*. Монах этот с восторгом рассказывал мне об этой местности.

— Это Святая Гора,— говорил он мне,— и была она населена отшельниками. Она походит на Афонскую гору и описать ее не хватит человеческих слов.

По его же словам, уединение и частое напоминание о молитве, которые встречаются на каждом шагу, придают этой местности что-то святое, и никакая, кажется, другая местность не может внушить человеку такие чувства благочестия и созерцания Божьего величия, как эта Святая Гора. Я с невольным восторгом слушала рассказы монаха, и мне захотелось быть его ходательницей. Мне самой сильно захотелось побывать в тех местах и выхлопотать для этого монаха позволение вырыть себе келью в горе. Но, к моему великому горю, свекровь моя, взявшаяся хлопотать об этом, получила решительный отказ от своего брата, и я с прискорбием должна была передать этот отказ монаху. Однако красноречивый рассказ иеродиакона, его пламенное желание поселиться на том месте, где жили и спасались святые отшельники, его горе при получении отказа — все это произвело на меня глубокое впечатление и навсегда врезалось в моем сердце. Много лет прошло с тех пор, но я никогда не забуду то горе, которое нанесла я, совершенно невольно, этому несчастному монаху. Но и это про-

---

* Племянник светлейшего князя Потемкина. Свекровь же Т. Б. Потемкиной в первом браке была за Потемкиным, во втором — за князем Юсуповым.

шло, как все проходит в жизни, а сама она потекла своим обычным порядком, полная пустоты и волнений. Я стала забывать и монаха, и его рассказы, как вдруг совершенно неожиданно умер г-н Энгельгардт. Святые Горы было его родовое имение, и, чтобы выручить деньги для раздачи наследникам, его решили продать. Узнав об этом, я умоляла мою свекровь купить у ее сестер (их было пять) их части и сделаться единственной наследницей этого прелестного уголка южной России. Она уступила моим просьбам и купила Святые Горы. С этой минуты у меня явилась мечта восстановить там монастырь и снова населить его пустынные кельи. Но ничто не обещало, чтобы когда-нибудь осуществилась моя мечта.

Во время холеры, в 1832 г., мы с мужем поехали туда и воочию увидели то, о чем говорил нам монах. Да, это было действительно чудо природы: громадная скала формы пирамиды и вся покрытая лесом, а в этой скале целый монастырь; но об этом монастыре свидетельствовали одни каменные плиты с молитвенными надписями в кельях прежних грамотных монахов. Я не смогу передать то впечатление, которое на меня произвела эта местность! Все здешнее прошлое как бы воскресло в моем воображении, и это уединенное место, где слышался теперь лишь крик птиц, представилось мне заселенным людьми, ищущими спасения в молитве и посте. В двух плохо сохранившихся кельях жили два сельских священника в большой бедности. Недалеко от келий стояла и маленькая, бедная приходская церковь, выстроенная во имя Успения Божией Матери. На благовест колокола этой церкви приходили крестьяне соседних селений, но другого сообщения с людьми священники не имели и скорбели о том, что не могут дать никакого воспитания своим детям. Вот в каком положении застала я эту обитель в 1832 г.

Моя свекровь пользовалась доходами с этого имения, но еще не начинала возобновления монастыря. В год своей смерти она часто бывала в Сергиевской пустыни[116] (в окрестностях Петербурга) и однажды в откровенной беседе с отцом Игнатием (тамошним настоятелем)[117] высказала ему свое намерение о возобновлении Святогорской обители.

— Я так к вам расположена,— сказала она ему,— что готова отдать вам Святые Горы.

Эта фраза, сказанная от чистого сердца, была, вероятно, угодна Богу... Прощаясь с архимандритом, она обещала быть у него через восемь дней, но на девятый день после этого разговора ее уже не стало. Огорчила нас ужасно ее смерть, и долго не могли привыкнуть к той пустоте, которую мы чувствовали после ее кончины.

При разделе имущества я просила себе Святые Горы. Теперь-то надеялась осуществить свою мечту, но и не только мою лично, а также и моей покойной свекрови. Господь не отвергнул молитвы раб своих, и этот, когда-то богатый, монастырь был вновь воздвигнут с согласия императора Николая I. На освящение его приехал архиерей Иннокентий...

С тех пор прошло 19 лет, а я каждый год езжу сюда и любуюсь на это дело рук Божиих, на эту святую обитель. Она имеет теперь триста монахов и управляется самым строгим монастырским уставом. Не мне восхвалять этот монастырь, а я могу сказать только всякому, кто прочтет мои записки: «Прийдите и взгляните на это чудесное дело рук Божиих и прославьте Имя Его святое». Я благодарю Господа, что Он удостоил меня быть свидетельницей такой великой милости Своей к людям. Для восстановления монастыря была масса пожертвований, и приносил каждый, кто что мог, напоминая умножение пяти евангельских хлебов, которыми насытились пять тысяч народа. «О Господи, Ты таишься от мудрых и ра-

зумных и открываешь Себя младенцам. Он избирает орудием слабых, больных, чтобы явить славу Свою среди стольких препятствий, болезней и смерти!» Но все Его великие милости не налагают ли они на меня большей ответственности? Видеть Бога во всем и везде и оставаться равнодушным — преступление, которое губит душу человека, и он все больше и больше грязнет в пороках. А потому, как нужны мне Твои великие милости, Господи, чтобы избавиться от легкомыслия, забвения, равнодушия и упорства!! Один Господь велик, все же остальное — прах! Но этот прах одушевлен божественной искрой, и в этой-то искре вся наша жизнь. Но для поддержки нашей нравственной жизни не нужна ли нам благодать Господня? Об этом-то я и прошу моего Господа, чтоб очиститься от нечистоты душевной и жить в вечной жизни.

Я вот уже 23-й раз как приезжаю в Святые Горы и сегодня накануне своего отъезда. Прожив шесть недель в Крыму, я приехала сюда, а теперь уже должна вернуться в Петербург. Во время моего пребывания в Святых Горах приезжала моя сестра Мещерская со своим племянником Гончаровым[118], и никогда мое пребывание здесь не было мне так приятно, как нынешнее, хотя оно и было кратковременно. Погода была все время идеальная: такой осени с тех пор, как живу, не помню. Такое теплое, тихое время!.. Природа представляла собой тот покой и тишину, которую получим мы после нашей смерти, и давала возможность надеяться на вечный отдых!! Я уехала из Святых Гор радостная и вполне поправившись от всех моих болезней. Я была счастлива вернуться в Петербург и свидеться с мужем, с сестрой Софией и со всей моей семьей. Приехав в Москву, я поехала к митрополиту Филарету, чтоб получить его благословение, и это было уже в последний раз, так как через месяц он скончался. Этот почтенный старец вполне сохранил свой светлый ум. Он с большим интересом расспра-

шивал меня о моем монастыре, и в его речи слышалось столько любви и снисхождения, чего раньше он никогда не выказывал».

XV

Поездка в Петербург.— Возвращение в Огарево.— Покушение на жизнь императора Александра II.— Пожар в Огареве.— Отъезд мой на зиму в Петербург

В 1865 г. мы покинули Огарево и отправились с матерью в Петербург. В столице мы были встречены радушно всеми многочисленными родственниками. Я была застенчива с чужими, но родных встречала всегда с первого раза как людей, давно мне знакомых. Недолго мы оставались в Петербурге, но я успела подружиться со всеми кузинами и навеселиться вдоволь, а главное и самое для меня счастливое было в этой поездке то, что я привлекла к себе сердце моей дорогой бабушки, Т. Б. Потемкиной, которая взяла слово, что мама́ пришлет меня к ней на будущую зиму для развития моих музыкальных способностей и для обрабатывания голоса.

Бывши в Святых Горах, я тогда уже душой привязалась к бабушке, а тут, увидав ее опять такой же ласковой и доброй, я полюбила ее той восторженной, свежей любовью, какою только может любить девушка в шестнадцать лет.

Выехали мы из Петербурга в марте месяце 1866 г., когда наступила уже распутица, а потому путешествие наше было сопряжено с большими препятствиями и ужасами. Мы ехали через Москву на Нижний, а от Нижнего до Огарева приходилось ехать 350 верст на почтовых. Нас сопровождал брат Евгений, который, не жалея себя, пускал в ход свою отвагу, ловкость и придумывал всевозможные переправы через реки и зажоры.

Подъехали мы раз ночью к громадному разливу, около которого собралось много путешественников, как и мы; все стояли, не решаясь сунуться в эту неизвестную пропасть, предпочитая всю ночь дрогнуть от холода и сырости в ожидании рассвета. Но смелая, живая натура брата не могла оставаться в подобном ожидании... В числе ожидающих рассвета было одно семейство сибиряков, ехавшее в высоких сибирских санях, и большая компания татар. Брат обратился с просьбой к сибирякам одолжить ему их сани, а татарам предложил отправиться с ним вместе испробовать путь; татары согласились. Став в большие сибирские сани, брат закричал татарам: «Ну, братцы! С богом — хайда!» С этими словами лошади тронули, большие сани грузно опустились в воду и поплыли с лошадьми, покачиваясь из стороны в сторону. Через несколько времени, благодаря бога, Евгений вернулся обратно и стал хлопотать о нашей переправе. Все вещи из возка переложил в сани, а на вещи посадил сибиряков и нашу англичанку, дрожавшую от холода и страха. Меня с мама́ поместил в возке, на скамеечке, в окна протянул канат и велел держаться за него, сидя на корточках, сам влез на возок, чтобы держать равновесие. Со страхом и замиранием сердца тронулись мы в путь, и только что въехали в зажору, как вода с шумом влилась к нам в возок, но благодаря заботливости, ловкости и умению брата мы благополучно переплыли разлив и даже не промокли. Евгений был в восторге, что ему удалось показать всем путь и довезти нас до станции сухими.

На станции мы встретили в ночном дезабилье семейство К*, они, несчастные, за час или два до нас проезжали эту страшную зажору, в которой ямщики их вывалили. Везли они с собой много нарядов, шляп, цветов, с которых текла вода, и барышни с грустью смотрели на все пропавшие наряды!.. 25 марта верну-

лись мы домой и встретили все вместе в теплом своем гнездышке весну и светлый праздник!..

В апреле месяце разнеслась по России страшная и непостижимая весть о покушении на жизнь государя и дошла до нашего уединенного уголка[119]. Молодые сердца наши заволновались от негодования, ужаса, и нам хотелось выразить благодарность Богу за спасение и сочувствие государю. По совету мама́ мы вышили воздухи[120] и в конце июня, через Т.Б. Потемкину, отправили их при следующем письме императрице:

«Ваше императорское величество, всемилостивейшая государыня! По случаю злого покушения на драгоценную жизнь всеми любимого монарха нашего мы, после усердной молитвы за спасение его, пожелали выразить чувства, которыми с самого детства сердца наши наполнены и которые, без малейших перемен, перейдут с нами в вечность. Прилагаемые воздухи — ничтожный труд наших рук, благоволите всемилостивейше принять.

Да сохранит Господь Бог на многие лета, всемилостивейшая государыня, вашу бесценную жизнь и жизнь августейшего нашего монарха для блага дорогого отечества нашего.

Вашего императорского величества верноподданные: княжны Елена, София и Татьяна Голицыны».

Через несколько времени мы получили ответ от бабушки с приложением письма государыни.

«Милая Лена,— писала бабушка,— я получила твое милое письмо, подписанное тремя сестрами. Я сейчас же послала его государыне и посылаю тебе ее ответ. Она вас благодарит и с удовольствием принимает воздухи для дворцовой церкви. Итак, дорогие дети, принимайтесь за работу и присылайте воздухи к 22 июля. Это очень мило и хорошо то, что вы придумали. Каждое действие, внушенное религией и любовью к Богу, трогает сердце, и ваше маленькое

письмо окончательно тронуло сердце их величеств! Прощайте, дорогие дети, целую и благословляю вас всех троих! Татьяна Потемкина.

P. S. Вот и письмо государыни, которое я только что получила. Я вам его дарю — примите его, как вещь, вам принадлежащую, так как она и государь вас благодарят».

«Письмо ваших племянниц,— писала императрица,— нас очень тронуло — государя и меня; мы с удовольствием принимаем воздухи и просим вас поблагодарить их.

Покой здесь приносит мне большую пользу, но холод мешает мне пользоваться прогулками настолько, насколько желала бы для моего здоровья.

Тысячу приветов».

«Милая моя Catherine! — писала бабушка к мама́,— сто раз виновата перед вами и перед нашей дорогой императрицей, которая поручила и так просила меня благодарить ваших детей за великолепные воздухи, которые они вышили и прислали ей так кстати. Воздухи были получены в Петергофе 22-го, но без меня не смели их открыть, и только 27-го, в день рождения императрицы, они были ей поднесены; она мне их показывала, и мы вместе с ней любовались ими. Императрица с любовью поручила мне поцеловать ваших детей и сердечно благодарить их за внимание и работу, которую они сделали с таким вкусом и усердием. Это из Святых Гор, что я исполняю ее поручение, так как я видела ее перед своим отъездом; на другой день моего визита я уложилась и приехала сюда, где все мне напоминает ваше милое пребывание и дорогих ваших детей. Мой муж, слава Богу, поправился это лето настолько, что желал не расстраивать ничего в моих предположениях! И вот я здесь наслаждаюсь каждым святогорским днем, как бывало прежде! Прощайте, дорогой друг, я сожалею, что вас нет здесь».

В то время, когда бабушка наслаждалась в Святых Горах, нас в Огареве посетило горе. Был воскресный день. Мирные жители Огарева поджидали благовеста, чтобы с первым ударом колокола идти в церковь. Солнце ярко светило, но ветер был сильный и знойный. Соседние прихожане, мужики и бабы, кучками стояли и сидели за оградой, на паперти и разговаривали в ожидании обедни.

Мама́ с Катенькой были в Салтыках; а мы, как и при них, не пропуская ни одной обедни, также были готовы и сидели в ожидании благовеста.

Наконец ударили в колокол. По длинной улице потянулся народ в церковь. Не успели мы сесть в экипаж, как услышали вместо благовеста набат! В конце села показалось пламя; ветер был попутный для огня, который не щадил и захватывал подряд все избы. Церковь была на пути, а наш дом в конце села. Огневое море, как лава, двигалось вперед и приближалось все ближе и ближе. Поднялась страшная сумятица: все бежали в разные стороны, кричали, плакали, а церковный колокол продолжал гудеть.

В продолжение двух часов все было кончено — села не существовало! Осталась церковь, три кельи и наш дом. Он загорался два раза, но благодаря усердию соседних мужиков его отстояли. Сколько бед сделала одна искорка, неосторожно вылетевшая из трубы!.. Жутко было входить в пустой дом, откуда была видна эта ужасная картина потухающего пожара. Мы всю ночь не спали — не на чем было, да и горе, стоны и плач пострадавших отгоняли наш сон.

К утру все-таки, усталые, мы вздремнули, сидя и прижавшись друг к другу. Ясное солнце, смотревшее во все окна без занавес и стекол, запах гари и дыма пробудили нас, и вспомнили мы о вчерашнем страшном событии.

Добрая мать наша поспешила на помощь погорельцам: дала им лес на постройку, и к Покрову Пре-

святой Богородицы (престольный праздник) Огарево, расширенное, с переулками, без курных изб праздновало новоселье! И так радостно было видеть его беленьким, чистеньким и с перестроенною заботами матери церковью.

Настала, наконец, пора расстаться мне с милым нашим Огаревым — мать задумала отправить меня на зиму к бабушке Потемкиной. Отсылая меня в Петербург, она надеялась, что я послужу связью между нею и родными отца; тем более бабушка Т. Б. Потемкина была неизменно добра к матери, понимала ее всей своей любящей душой и сочувствовала ей. Мама́ надеялась также, что я сумею приобрести расположение и остальных родных, которые со временем обласкают сестер и будут им полезны.

Посылала она меня с нашей доброй madame de Laveau, которая для того только и вернулась из Парижа с многочисленными туалетами и чепцами, сделанными после траура по мужу, чтобы сопутствовать меня в Петербург. Сопровождала меня и горничная Дуняша с неизменным Евграфом.

Когда отъезд мой был решен, я со страхом думала о жизни вне родного дома, но молодость недолго останавливается на грустных мыслях и, несмотря на горечь разлуки, моя голова наполнена была разными грезами, сменявшими одна другую...

Последний вечер, проведенный дома, пробудил меня, и я, войдя в свою комнатку, где все мне было мило, все знакомо, вдруг вспомнила, что ведь это последний вечер провожу я в ней, последнюю ночку ночую — и горько, горько стало на сердце. Подошла я к окну: луна полным блеском освещала наш двор, сад, ту поляну, теперь покрытую снегом, где мы так весело, беззаботно играли в горелки. Что ожидает меня?.. О! Как грустно мне будет одной, без мама́, без сестер!.. Я прислонилась горячим лбом к стеклу и заплакала.... Вошла Соня. Робко, с глазами, полны-

ми слез, подошла она ко мне и надела на мой палец кольцо, тихо сказав:

— Посмотри, Леля! Вот эти три жемчужины на кольце — это мы, сестры; две вместе — я с Таней, а одна на веточке, вдали — это ты удаляешься от нас; черный фон — это наша грусть и траур, который мы будем носить по тебе в наших сердцах!..*

Крепко поцеловались мы с ней, горько заплакали, и грусть еще сильнее охватила мое сердце. Мечты мои окончательно затмились, и с этой грустью я уехала и часто, часто повторялась она в моей душе, и колечко Сонино не переставало напоминать мне последние минуты, проведенные в родном доме, прощание с матерью, сестрами и со всеми нашими милыми жителями Огарева.

Я выехала в ночь, надеясь, что слезы и горе мое убаюкает сон, но заснуть я долго не могла. Мне слышались знакомые голоса: «Прощайте, прощайте!.. До свидания!.. Ну Христос с тобой,— говорила мать,— помни все мои наставления!..» и видела я их всех... Вот и батюшка наш добрый вчера, за напутственным молебном, с каким чувством сказал он: «Да благословит вас Господь от Сиона и да узрите благая Иерусалима».

Через несколько времени я успокоилась и, согревшись от нервной дрожи, уснула так крепко, что проснулась только тогда, когда Евграф открыл дверцы возка и проговорил зазябшим голосом:

— Приехали на станцию! Не угодно ли чаю?

---

* Это было как бы предсказание: судьба оторвала меня от них — они вместе поселились за границей, а я, вышедши замуж, безвыездно жила в деревне.

XVI

Приезд в Петербург накануне Рождества Христова.— У обедни.— Бабушкины именины.— День Татьяны Борисовны Потемкиной.— Моя жизнь у бабушки

Не без затруднений добрались мы до Петербурга, где ожидала нас карета бабушки. Шибко покатили мы по Невскому, потом повернули на Большую Конюшенную и скоро подъехали к ярко освещенному дому на Миллионной[121]. С замиранием сердца переступала я порог моего нового жилища.

Войдя в швейцарскую, первое, что предстало моему взору, это куча шуб и множество лакеев в парадных ливреях, таких же важных, как тот, который привез меня, и все они равнодушно и безучастно смотрели на мое появление, как будто бы дверь швейцарской и не отворялась и никто не входил в нее. Мне хотелось пройти где-нибудь незамеченной: я казалась себе такой неуклюжей в теплом дорожном платье, в шапке, и ноги в теплых сапогах как-то были неповоротливы, одним словом, ни моя наружность, ни мой костюм не гармонировали с обстановкой, которая попадалась мне при каждом моем шаге, и я, идя по лестнице, спотыкалась и наступала на платье. Но вот увидела я на верхней площадке лестницы дорогую бабушку, всю в белом, с милой, доброй улыбкой на лице, ласково смотревшую на меня, и, забыв о своей наружности, которая секунду тому назад как сетями окутывала ноги, я побежала по ступенькам к ней навстречу и бросилась целовать ей руки. А она, обняв меня, хотела уже вести в гостиную, но я попросила пойти прежде снять дорожный туалет.

Наскоро одевшись, мы с madame de Laveau пошли в гостиную, где, к счастью, гостей застали уже немного. Бабушка с той же ласковой улыбкой встретила нас и подвела к своему мужу, Александру Михайловичу, который также приветливо улыбнулся, что-то

тихо сказал — я в смущении не расслышала — и подал мне руку. Впоследствии я узнала, что это знак особенного расположения, так как когда он бывал недоволен или равнодушен, то подавал два пальца, а когда совсем недоволен, то и один.

Тут было еще несколько старых тетушек, у которых я почтительно перецеловала руки, и некоторые приветливо целовали меня, а другие важно принимали должное почтение. Все они, разодетые в элегантных светлых платьях и пышных белоснежных чепцах, сидели за круглым столом и пили чай.

Между ними были положительно красавицы-старушки; в особенности выделялись своей красотой тетушка Подчацкая, графиня Завадовская и М.О. Смирнова[122].

В другой комнате, рядом, в фонаре стоял также круглый стол, за которым сидели все живущие в доме, куда позвали и нас пить чай. Там нас встретили испытующие, холодные взгляды и несколько равнодушных вопросов. Проглотив, а не выпив чай, я, жалуясь на усталость, поспешила проститься со всеми и удалиться в свою комнату, и скоро вместе с madame de Laveau легла спать.

На следующее утро меня разбудили довольно рано.

— Княжна! Пора просыпаться!— говорила горничная моя, Дуняша, стоя около моей постели.

Я не спала, но мне не хотелось вставать, и я делала вид, что не слышу ее, и не открывала глаз.

— Татьяна Борисовна присылали уж спрашивать о вас,— продолжала она.

При имени бабушки я вскочила и, на́скоро одевшись, стала спускаться с лестницы. Спустившись в первую комнату, я спугнула, не преувеличивая, целый выводок лакеев, которые спокойно сидели — некоторые развалившись на стульях, другие, облокотившись на стол, а при моем появлении все они вскочили, как будто чего-то испугавшись, и вытянулись в

струнку. Это порядочно смутило меня, так что в первую минуту я замешалась и не знала, в какую дверь попасть, лишь бы скорее пройти через эту комнату и через строй этих, хотя почтительных, но все-таки в упор смотревших на меня глаз. Пройдя ряд пустых комнат, богато меблированных, я остановилась перед дверью бабушкиной спальни с намерением постучать, но не решилась и отошла. Комната, в которой я находилась, была ее кабинетом; я сочла лучшим подождать в нем бабушкин выход и начала осматривать все портреты, между которыми были очень красивые лица, в особенности хороши были мать Татьяны Борисовны, моя прабабушка, княгиня Голицына, и ее сестра, княгиня Трубецкая, мать Е. П. Подчацкой, на которую она была похожа[123]. Но наскучило мне смотреть на красавиц, а бабушка все не выходила, и я опять решилась подойти к двери и на этот раз оказалась храбрее — постучала. «Entrez!» — сказала бабушка. Она кончала свой туалет. При виде меня она улыбнулась, поцеловала и похвалила меня, что я скоро оделась. Около нее вертелись три фрейлины, горничными назвать их было нельзя; одна из них была важная, почтенная старушка в таком же чепце, как у бабушки, с такими же завитками на висках, которые пришпилены были гребеночками, и в очень нарядном туалете, другая — помоложе, но такая же важная, а третья — молоденькая, в белом фартуке, хотя не имела внушительного вида, но между тем она, как говорят итальянцы, «fa fugura».

На бабушке было светло-сиреневое шелковое платье и на плечах горностаевая мантилья, которую она редко снимала.

Ее добрым, ангельским выражением, высокой фигурой положительно можно было любоваться.

Предложив бабушке руку, я отправилась с ней в церковь. Часы только что начались[124] и, кроме старушек, живущих на пенсии, которые приветливыми

взорами встретили нас, да монашек и дам в старомодных шляпках (то были просительницы), почтительно кланявшихся нам, никого, к моему счастью, еще не было. Но не успели отойти часы, как стали съезжаться. Первым вошел хозяин, А. М. Потемкин, который, пробираясь к месту, где стояла Татьяна Борисовна, видимо стараясь никого не замечать. За ним появились нарядные старушки, также все в светлых платьях, и каждая из них не искала, где ей стать, а становилась на свое излюбленное местечко; не опоздали к началу обедни и богомольные старички, дамы с мужьями и детьми; мамаши выстраивали вперед курчавых, белокурых девочек, разряженных «в пух и прах», с голенькими шейками, ножками, и видимо любовались своими детками; другие мамаши вводили мальчиков и также старались стать впереди с ними, чтобы все видели, какие у них молодцы-сыновья. Одну из таких мамаш я помню: красавицу княгиню Е.Г. Волконскую[125], которая отличалась всегда простой гладкой прической. Потом, наконец, к концу обедни приехали дамы, изрядно заботившиеся о своих туалетах и, я думаю, почти исключительно приезжавшие, чтобы показать их; за ними вслед появлялись генералы, любители дамского общества молодцы-офицеры — больше все кавалергарды и, становясь в дверях невдалеке от элегантных дам, изредка шепотом перекидывались отрывочными фразами, что заставляло отвлекаться нас, грешных, от молитвы; но разговоры были очень умеренные и тихие, не нарушающие общего порядка, так как знали, что хозяйка и хозяин не любили этого. Зато, когда после креста все общество двинулось из церкви и рассыпалось в большой зале — общий говор, пожатие рук, переливание из пустого в порожнее не умолкало, а я радовалась тогда, что стушевалась в этой толпе. Все гости, поздоровавшись с хозяйкой обязательно, с хозяином — не всегда, так как он старался пройти

незамеченным, отправлялись пить чай за гостеприимный стол Татьяны Борисовны, а Александр Михайлович, часто не зная своих гостей, спрашивал за столом, кто тот-то или та? Я уселась подальше от всех моих grand parents у самовара, на самом конце стола, надеясь, что обо мне забыли, но, к моему ужасу, ошиблась! Бабушка позвала меня к себе, и я, покраснев до ушей, должна была пройти около всего длинного стола, чтобы подойти к ней. Бабушка начала представлять меня и говорила:

— C'est la fille de Юрка.

— On le voit bien par la ressemblance,— отвечали старушки, приветливо кивая мне головой.

— Et a-t-elle du talent comme son père?— спросила одна из них.

— Elle a une très belle voix et va la travailler ici; après le thé elle nous chantera*.

Последние слова бабушки привели меня во вторую краску, а когда после чая добрые старушки расселись меня слушать, я стояла около фортепиано пурпуровая и пела все время с биением сердца.

Петербургская жизнь шла своим чередом. Ежедневно мы гуляли, а затем, вернувшись домой, спешили переодеваться к обеду и являлись к столу все более или менее элегантными. У бабушки Татьяны Борисовны ни одного дня не проходило без гостей; и большую часть все дни недели были как бы абонированы близкими и друзьями; но, кроме этого, были и случайные гости за обедом. Нас, живущих, было 15, так что садилось за стол не менее 20—30 человек. Итак, вся компания, состоящая большею частью из

---

* — Это дочь Юрки.

— Видно по сходству,— отвечали старушки, приветливо кивая мне головой.

— Имеет ли она таланты своего отца?

— Она имеет очень хороший голос и приехала сюда, чтобы развить его; после чая она споет нам.

старичков и старушек, чинно направлялась попарно в столовую, проходя целую анфиладу комнат. Обыкновенно я старалась быть в хвостике этого шествия, идя под руку со своим братом, когда он обедал у бабушки, а после обеда уводила его наверх, в свою комнатку, где мирно беседовали мы обо всем понемногу. А там внизу некоторые старушки под тихий монотонный разговор своих кавалеров засыпали, сидя в мягких креслах; только по пятницам, когда обедал Андрей Николаевич Муравьев, никто не засыпал благодаря его грубому голосу и умным речам, которыми он разгонял их послеобеденную дремоту. Наружность его была не из красивых; ростом высокий, немного сутуловатый, с головой, походившей на львиную, с таким же строгим, умным и сумрачным выражением — он не всем был приятен, но бабушка любила его, хотя часто нападала на него за его злой язык. Я слышала, что у него в свете было много врагов и называли его «Андреем Незваным».

Бабушкино утро начиналось рано: она вставала в 8 часов, и с этого часа, как швейцарская, так и приемная комната наполнялись разным людом всех классов и сословий — отказа никому не было, и всем был доступ к ней. Если требовалось что-нибудь очень спешное, то девица, заведующая перепиской и ее благотворительными делами, приходила в спальню и рассказывала, в чем дело. Если кто из просителей нуждался в рекомендательном письме к великим мира сего, то бабушке подавали перо, и она писала к разным высокопоставленным лицам, прося помощи; приходилось нередко писать членам царской фамилии и самой государыне на скорую руку и в постели. Она готова была хлопотать о каждом и каждому оказать денежную помощь. Она выходила к просителям счастливая и сияющая, если у нее было достаточно денег для их нужд; если же запас из суммы, которая ей выдавалась мужем на благотворительные дела,

был истощен и незначителен для помощи, то Татьяна Борисовна была в отчаянии. Ей приходилось просить мужа о выдаче новой суммы, а он был аккуратен, скуповат и не любил выходить из бюджета. Зная же готовность жены отдать последнее платье, Александр Михайлович хранил у себя все брильянты. Когда надо было их надеть — старшая фрейлина отправлялась к нему за ними, счетом получала, надевала на свою госпожу и строго приказывала выездному лакею следить, чтобы Татьяна Борисовна не потеряла их. По возвращении бабушки, с нее снимались все брильянты и неслись опять на сохранение к мужу.

Александр Михайлович обожал жену и все делал, что она желала, но находил, что всему должна быть мера. Если получался отказ, то она посылала закладывать свое туалетное серебро, которое часто таким образом выручало ее бедных, для которых она положительно была послана богом: вставая и ложась, она думала о них.

Если утро ее было благополучно, т. е. было чем успокоить своих просителей и просительниц, она выходила к ним из своей спальни с ясной улыбкой и, выслушав их, шла пить чай в свой кабинет, куда вела тех, с которыми хотела продолжать беседу. Садясь за маленький свой серебряный самоварчик, желая им напоить весь свет, Татьяна Борисовна ласково спрашивала: «Хотите, милая, чаю?», но ни воды, ни чаю не хватало для гостей, и каждый раз она кротко замечала лакею, стоявшему около нее: «Что же это, Павел, как мало вы дали чаю!», и каждый раз получался от него ответ: «Я думал, ваше высокопревосходительство, что изволите кушать одни!..» Ответ был очень почтительный, и голос звучал тем же, но взгляд, который Павел бросал на бедных просительниц, одетых в старомодные мантильи и шляпы, был очень презрительный.

Угостив чаем приглашенных и не всегда напившись сама, Татьяна Борисовна ехала в приюты, которые были под ее попечением, в тюрьмы, навещала больных и всюду вносила добро, слово Божие, любовь и ласку.

12 января в Петербурге кто не вспоминал о Татьяне Борисовне Потемкиной? Кто не ехал поздравить ее с днем ангела? Кто не шел к ней с тем же? Кто не стремился в ее домовую церковь? Кто не молился о ней, кто не желал ей здоровья и всего хорошего?!..

Начиная от государя, митрополита, высшего духовенства, министров, генералов, светских дам, старых и молодых, и кончая теми несчастными просительницами, которых лакеи в этот день просто вымели бы из дома,— все бывали на Миллионной и все поздравляли добрую, ласковую, приветливую Татьяну Борисовну, и как с богатыми, знатными, так и с бедными и нищими она была равною в обращении, для всех у нее было ласковое слово.

Каждый год государь и вся царская фамилия бывали у Потемкиных 12 января, в день ангела бабушки, и 7 февраля, в день свадьбы и рождения Татьяны Борисовны и Александра Михайловича.

В 1865 г. они праздновали золотую свадьбу, и вот письмо, в котором бабушка описывает, как государь со своей семьей почтили этот день:

12 февраля 1865 г.

«Дорогая Екатерина!

Ваши письма меня очень тронули.... Вы благоразумно поступаете, что проводите зиму в деревне, и так как дети любят деревенскую жизнь, то вам будет хорошо; я вас жалею для себя потому, что мне так хотелось видеть вас зимою здесь.

Я праздновала на днях свою золотую свадьбу. Это чудный день для тех, кому прошлое не напоминает ничего печального и было сплошное счастье и спокойствие.

В моей радости приняли участие общество и царская фамилия; этот день, помимо моей воли, сделался настоящим торжеством, хотя я совсем не собиралась его праздновать, так как мы в трауре по моем брате Александре[126]... Эта смерть меня так поразила, что я заболела. Моя бедная belle-soeur чувствует себя очень одинокой. Но жизнь идет своим чередом, горе притупляется в светском водовороте, и пока оплакиваем умерших, свет требует отчета в нашей грусти.

В день моего юбилея вся царская фамилия осчастливила меня своим присутствием. Государь, все его сыновья и братья, великие княгини — все принесли мне свои поздравления и пожелания счастья. Государь передал мне от имени императрицы прелестный браслет с портретами их обоих и с их вензелем из брильянтов и рубинов на крышке медальона, на обратной его стороне находится число моей свадьбы, 7 февраля. Кроме этого, она прислала мне прелестное письмо на 4 страницах. Великие княгини приехали к обедне, так что моя свадьба как бы повторилась.

Я вам пришлю мою маленькую карточку с мужем. Что вы думаете делать летом?

Прощайте, моя дорогая. Целую ваших дорогих детей и от всего сердца благословляю их и вас».

В год моего приезда 12 января день начался обедней в домовой церкви, которая больше, чем обыкновенно, была наполнена петербургским высшим светом.

Чай и завтрак прошел также шумно и многолюдно, а после завтрака начали приезжать одна за другой великие княгини, великие князья, и наконец доложили: «Государь». Бабушка была в этот раз не совсем здорова и сидела в кабинете на кресле рядом с мужем; в этой же комнате находились только члены семьи, живущие в доме, а именно: дядя, князь Борис Андреевич Голицын, сын его — Саша[127] и я.

Все стояли, когда государь вошел, исключая бабушки, которая хотела приподняться, чтобы идти к

нему навстречу, но он, увидя ее движение, быстро подошел к ней, говоря: «Je vous supplie, chère M-me Potemkine, ne vous dérangez pas!»* и, усадив ее обратно в кресло, с любовью и лаской поцеловал три раза ее руки. Я стояла рядом с ней, и, когда она меня представляла, я вторично сделала самый глубокий реверанс, какой только могла. Государь милостиво подал мне руку, сделал несколько вопросов о деревне, так как бабушка сказала, что я там воспитывалась. О, счастье и блаженство, язык мой на этот раз был послушен, и ни разу я не заикнулась.

Впечатление первого вечера, проведенного мною в доме бабушки Потемкиной, меня не обмануло: родственники, живущие в доме, были ко мне холодны, равнодушны — ни ласки, ни привета я от них не видела; остальные же дамы, как то: приживалки, воспитанницы и т. п. лица, которых Евгений, брат мой, называл общим именем: «Перепетуи», положительно не любили меня, хотя видимых неприятностей пока они мне не делали, да и не было причин, так как, помня наставления матери, я всегда держала себя с ними вежливо и осторожно. Но иногда трудно было чувствовать себя какой-то чужой для всех, и косые, недоброжелательные взгляды меня смущали и подчас огорчали до слез...

Это хорошая была школа для моего характера и заставляла меня любить еще сильнее свой очаг, свое родное гнездышко, где, кроме ласки, снисхождения, любви, доходящей почти до обожания,— я ничего другого не видела, начиная с матери, кончая нашей доброй прислугой. К бабушке Татьяне Борисовне я привязывалась день ото дня все более и более, и в ее обращении со мной все мне говорило, что она полюбила меня, и с ней только было мне хорошо, легко, спокойно; когда я бывала около нее , я забывала свои маленькие горести, забывала, что я не дома, и каж-

* Я вас умоляю, г-жа Потемкина, не беспокоиться.

дое слово ее западало мне в душу; я восхищалась ее бесконечной добротой; а она меня учила так же, как и мать наша, все прощать и смотреть на недостатки людей и пороки их с грустью, а не с ожесточением и стараться врагов своих покорять добром и лаской, а не злобой и мщением. Тогда я целовала ее руки и плакала от умиления и желания походить сколько-нибудь на нее. А она, увидав мои слезы и погладив меня по голове, говорила: «Chère enfant!.. Que Dieu te guide!»* и, засидевшись более обыкновенного, поспешно вставала, говоря: «Il est temps, que je parte — j'ai beaucoup de courses à faire aujourd'hui»**. И я уходила от нее, примиренная со всеми, если имела к кому-нибудь неприятное чувство.

Когда я приехала, вот письмо, которое бабушка написала мама́:

20 декабря 1866 г.

«Дорогая моя Catherine!

Лена со своей доброй гувернанткой приехали к нам совершенно здоровые, несмотря на 15 град. мороза. Я приняла ее с материнской любовью, так как понимаю, что́ вам стоило с нею расстаться. А Евгений уехал за ней и без шубы, что очень меня беспокоит! Ломакин уже был, пробовал голос Лены и нашел его чудным, он будет давать ей уроки два раза в неделю. Надеюсь, что мы из нее сделаем прекрасную певицу! Она очень музыкальна, играет хорошо, и вы отлично сделали, что решились прислать ее к нам; если Господь позволит, она прекрасно окончит свое образование. Я очень и очень грущу... Причин к тому много: кончина брата Николая[128], фальшивое положение Б., потом больные, за которыми я ухаживаю и которые скоро покинут нас для лучшего мира, и как бы в утешение всем этим невзгодам ваша милая дочь

* Дорогое дитя!.. Да благословит тебя Господь!..

** Пора мне ехать — сегодня у меня много дела.

своим присутствием оживляет нашу жизнь! А мы, со своей стороны, постараемся доставить ей лишь одно приятное. Мои прелестные племянницы Шуваловы и Рибопьер[129] подходят к ее возрасту. Прощайте, дорогая племянница и друг мой».

Дни наши с m-me de Laveau проходили довольно однообразно: по утрам я с ней занималась, а после завтрака каждый день пела экзерсисы, готовясь к уроку пения Ломакина, и разучивала заданное мне учителем музыки Капри; потом мы отправлялись гулять, а вечером иногда ездили к кузинам и очень редко в театр. Утренние занятия мои шли не очень аккуратно, в особенности первое время моего приезда,— меня то и дело требовали на половину бабушки, и, пока она не представила меня всем родственникам и знакомым, которым хотела меня отрекомендовать, я постоянно отрывалась от занятий. Все эти представления были для меня настоящей пыткой, и все гости казались прескучными. Только раз, помню, одна из посетительниц меня очаровала, во-первых, своей красотой, а во-вторых, обрадовала меня своим желанием и просьбою видеть меня в живых картинах у нее во дворце. Это была княгиня Суворова[130]. Не дождавшись даже согласия бабушки, я мысленно мигом перенеслась в театр, на сцену в одну из картин, проектируемых княгиней, и ждала с нетерпением момента, когда меня отпустят, чтобы бежать к m-me de Laveau объявить мою радость. Но бабушка, как холодной водой облила меня, сказав:

— Non, chère princesse, je ne puis vous la donner — elle est encore trop jeune pour aller figurer dans un spectacle et aller montrer sa beauté au publique*.

И как княгиня Суворова ни уговаривала бабушку позволить ей рассчитывать на меня — она была

* Нет, милая княгиня, я не могу вам ее уступить; она еще очень молода, чтобы участвовать в спектаклях и показывать свою красоту публике.

непоколебима, и позволено мне было поехать только в ложу и любоваться другими. Вообще бабушка не любила, чтобы я ездила в большой свет и театры, боясь ужасно, чтобы я не пристрастилась к свету и его забавам, и поэтому всегда со страхом и как бы беря грех на свою душу отпускала меня. На балы я еще не выезжала, а когда собиралась в театр или оперу и приходила к ней, веселая, сияющая, перед отъездом проститься — я читала на ее милом лице какое-то волнение и страх; благословляя меня, она покачивала головой, как бы говоря: «Как удержать молодость от веселья и всех прелестей жизни?! Но как страшны и опасны все соблазны в ней!..»

Подъезжая к театру, я испытывала какое-то необыкновенное, радостное, счастливое настроение. Я до страсти любила музыку, и когда в опере слышала оркестр, исполняющий увертюру из «Руслана» или «Жизнь за Царя», то душа моя положительно сливалась с этими чудными звуками и уносилась куда-то в лучший мир, где царит одна гармония, и хотелось не быть собой, а одним из этих чудных звуков, которые так дружно поют и вселяют людям такие чудные, неземные ощущения... На другой день бабушка, несмотря на испытанный накануне страх при отъезде моем в театр, с интересом спрашивала, что я видела и какое впечатление сделала на меня опера. Однажды она рассказала мне, что, бывши молодой, она так же, как и я, страстно любила театры, балы и т. п. удовольствия, но, сознавая, что эти удовольствия слишком притягивают ее к себе, отвлекая от долга и заставляя жить для своих эгоистических стремлений и вкусов, и не умея пользоваться благоразумно и спокойно прелестями жизни, но отдаваясь им всей душой и забывая, что для души есть лучшая, высшая жизнь, а именно жизнь для Бога и людей,— она решилась совсем отказаться от света; и все общественные удовольствия, как то: балы, рауты, концерты, театры ею

больше никогда не посещались. Музыку, которую она продолжала горячо любить, слушала она только дома или в очень тесном кругу.

XVII

Возвращение в Огарево.— Жизнь в деревне.— Управляющие: один вор, другой нигилист.— Брильянт, послуживший основанием доброго дела.— Отъезд в Петербург.— Падение бабушки Потемкиной с подъемной машины.— Дебют Лавровской.— Учитель пения.— Астроном и его лекции.— Завтрак во дворце великого князя Николая Николаевича.— Первый бал у графа А. Толстого.— Б. Маркевич.— Концерт.— Пятая симфония Мендельсона

Как ни хорошо мне было у бабушки в Петербурге, но родное гнездышко тянуло к себе, написала и я мама́ о своем желании возвратиться поскорей домой, в Огарево. Бабушка также не противилась моему желанию, находя его очень естественным, и вскоре, а именно 20 мая, благословила меня в путь.

Как радостно было, после пятимесячного отсутствия, подъезжать к дому и видеть милые, сияющие лица всех своих. Сестры бежали навстречу нам, посылая воздушные поцелуи, и, поравнявшись, продолжали бежать рядом с экипажем.

Около подъезда стояла целая толпа все знакомых лиц нашей большой дворни, и между ними — вот и мама радостная, веселая...

Перецеловав всех, я вошла в дом, и сестры потащили меня в мою комнатку, которую я не узнала: так ее разукрасили к моему приезду. Она вся была обтянута розовым коленкором, мебель обита хорошеньким розовым ситцем. Ландыши наполняли своим ароматом мою комнатку, и так в ней было хорошо и уютно!.. Мама́ с Катенькой вошли за нами, и все сели,

пока я стала разоблачать свой дорожный туалет, все слушали мои рассказы и делали вопросы без конца.

Жизнь наша потекла мирно, спокойно. Все были заняты своими маленькими хлопотами и занятиями. Мать продолжала хозяйничать, хотя не так уже усердно; она утомилась за последние годы многими неудачами.

До реформы во всех отношениях было легче вести хозяйство: люди были свои, и люди преданные; у них был страх божий, страх обидеть своих господ; не крали они, а берегли господское «пуще ока своего», их же заместители не смотрели уже на господское добро как на свое, поэтому не берегли его, не гордились господским благосостоянием, а смотрели как наемники на хозяйское имущество с целью — как бы извлечь из него свою выгоду и при удобном случае присвоить себе это чужое. Наши крепостные люди нас не покинули с объявлением эмансипации, и все остались при своих должностях; но старые бурмистры и приказчики терялись с новыми порядками. Матери посоветовали взять управляющего более образованного и вполне грамотного.

Один из друзей матери рекомендовал какого-то господина, и мамá поручила ему управление своим имением, а сама занялась усердно опекунскими делами, т. е. имением отца нашего, дела которого были запутаны и приходилось выплачивать долги, часто отлучаясь из Огарева. Имея доверчивый характер и при этом привыкшая к честным крепостным людям, мать и к новому управляющему отнеслась с полным доверием, в чем пришлось ей раскаяться, но поздно, так как этот образованный управляющий забрался в самую чащу огаревского леса и начал хозяйничать там по-своему и для себя, уверяя, конечно, местных жителей, что это по приказанию княгини рубят лес и продают его. Мы с мамá продолжали наши прогулки в лес на пчельник и, не углубляясь в чащу, не подо-

зревали, что лес редеет и что оставлена для наших прогулок опушка, а середина опустошается. Каким-то случайным образом кто-то донес об этом мама́; вначале она приняла это известие за клевету, но, когда объехала весь лес, ей пришлось убедиться в правде; она сама в собственном своем лесу встретила татарина-хозяина, купившего участок леса у образованного управляющего. Убытку она понесла тысяч 20; хотела она предать суду этого вора, так как можно было доказать, что он подписался даже под руку мама́, но ради его большой семьи сжалилась над ним и, прогнавши из Огарева, простила.

Образованного управляющего-вора заместил нигилист-управляющий со стремлениями к тому же воровству, но слово «воровство» заменялось им другим — теорией «что твое — то мое», а тем более достояние княжеское считалось им, более чем чье-либо, достоянием коммуны, о которой он мечтал, и можно себе представить, как подобный господин соблюдал интересы своей доверительницы.

Теперь обращаюсь мыслями опять к добрым людям Огарева.

Трудолюбивая наша Катенька занималась больными, которых лечила гомеопатией, и бедными, узнавая их нужды; она передавала матери нашей об этом, а та продолжала помогать как могла; у мама́ была копилка, стоявшая около образницы, куда она при каждой получке денег несла вклады для своих бедных.

Соня, сестра моя, занималась обучением грамоте нескольких девочек, в чем поощрял ее наш священник, который на свои средства открыл в селе школу и пожертвовал для этого свою баню, и занимался сам с мальчиками.

И так каждый вносил свою лепту в дело милосердия и пользы.

Соня была самая ретивая из нас трех: усердно занималась музыкой, с любовью относилась к наукам,

к чтению серьезных книг, а главная ее жажда была к добру и правде: это была маленькая Татьяна Борисовна. Она любила весь свет, хотела видеть всех счастливыми и страдала за несчастных и бедных. Мне казалось, что каждый кусок хлеба, который она подносила ко рту, мучил ее совесть, заставлял думать, что не все люди имеют его.

И глаза ее прелестные часто смотрели далеко куда-то, и черноволосая головка задумчиво наклонялась на грудь... и уходила она тогда куда-нибудь в уголок, садилась читать, проводя целые дни за любимыми своими писателями и поэтами: Некрасовым, Тургеневым, Белинским. Мама́, долго не видя ее, говорила: «Наша Сонюшка все по углам»... и, шутя, называла ее не героиней, а героинкой.

Когда мы ездили в гости, она всегда и туда тащила с собою целую библиотеку; мама́ ей это запрещала, так как в гостях, конечно, эти книги не читались; для нее же было это большим лишением оставлять дома своих друзей-писателей и, несмотря на любовь к матери, ослушивалась и просила горничную потихоньку положить книги на дно сундука. Однажды, когда мы гостили у наших соседей, Соне пришлось спать на клеенчатом диване, под подушкой ее покоились книги, тщательно укрытые от взоров матери; я с мама́ также спали в этой комнате; вдруг ночью мы были разбужены каким-то шумом, оказалось, что это Соня скатилась со скользкого дивана, и когда мама, испуганная, зажгла свечу, пред нами предстала следующая картина: Соня сидела на полу, испуганная и окруженная подушкой, одеялом и кучею книг... Это так было смешно, что я хохотала ужасно, а мама́ с укором воскликнула: «Сонюшка, опять ты с своими книгами!..»

Она не любила иметь вещи лучше и красивее нас. В моем отсутствии тетя Герасимова прислала ей кольцо мужа своего с великолепным брильянтом.

Когда я приехала из Петербурга, Соня хотела мне его подарить, я, конечно, не приняла этого великолепного подарка; тогда она сказала: «Ну, я подарю твоему жениху!» — на что я ей ответила, что если будет таковой, я ему не позволю принять этого брильянта. И так она всем его дарила и, к ее горю, все отказывались от ее подарка. Мама́ утешила ее, предложив ей купить у нее это кольцо за 700 рублей и на эти деньги сделать доброе дело; она с радостью приняла это предложение и начала думать, что бы сделать с этими деньгами? Приехал брат Евгений и посоветовал устроить крестьянский банк, обещая со своей стороны сделать взнос в 1000 рублей. Устройство банка заинтересовало всех жителей Огарева; итак, начало банка в Огареве положил Сонин брильянт, но, к сожалению, банк существовал недолго. Пока Огарево было в руках у матери, все шло отлично и мирно. Катенька с батюшкой всю душу свою вложили в него, но когда Огарево перешло в другие руки, крестьяне, подбиваемые мошенниками, желавшими стать во главе правления, делали столько неприятностей священнику и Катеньке, что пришлось ликвидировать дела.

История брильянта не кончилась: когда Соня сделалась невестой, мама подарила его Сониному жениху с тем, чтобы он поднес его своей невесте; и так этот брильянт, приносивший пользу в продолжение нескольких лет в добром деле, которым не сумели воспользоваться огаревские крестьяне, вернулся опять к своей хозяйке.

С наступлением осени меня стали опять собирать в Петербург, но мой отъезд пришлось отложить на некоторое время: мы получили грустную, тяжелую весть о бабушке Потемкиной.

Нам писали, что она больная, хотя вне опасности, лежит не дома, а во дворце великого князя Николая Николаевича, вследствие падения ее там с подъемной машины[131].

Вот как описывала это происшествие сама бабушка.

«Это было 22 ноября. Бракосочетание великой княжны Евгении Максимилиановны было объявлено, и великая княгиня Александра Петровна пригласила нас отпраздновать это счастливое событие теплой молитвой в ее церкви. Я с радостью поспешила присоединиться к моим друзьям, но чтобы сократить свой путь и избегнуть толпы, я велела поднять себя на подъемной машине. Хотя я и знала об опасности, ожидавшей меня, но я надеялась, что ее избегу. Я была уже почти у цели, как вдруг канат, посредством которого поднималась машина, лопнул, и я полетела с самой вышины с такой быстротой, что и представить себе невозможно. Я сознавала всю опасность моего положения и каждую секунду была готова отойти в вечность. Страшный треск... и машина разбилась вдребезги...

Меня вынули оттуда совершенно разбитой, но голова моя была свежа, а сердце — спокойно; я чувствовала только страшную боль в пояснице. Мое падение всех ужасно перепугало, и великая княгиня Александра Петровна не пустила меня домой, а оставила у себя на шесть недель. В это время она окружила меня самым тщательным уходом, и благодаря старательному лечению моя боль утихла, и я вернулась домой. Все мое нездоровье кончилось сильнейшим насморком, который затем перешел в катаральный. Это падение было последней эпопеей в моей жизни. Я чувствовала, что если я вернусь к жизни, то для того только, чтобы приготовиться к смерти. Я усердно просила Господа помочь мне достойно подойти к этой страшной и блаженной минуте, когда я перейду в другой, неизвестный мне мир.

После моего падения доктора отправляли меня за границу; но меня влекло в Святые Горы, где здоровый воздух, к которому я так привыкла, мог меня вполне

излечить, да при том и желание моего мужа, чтоб я ехала в деревню,— все это заставило меня забыть о чужих странах и поехать в Святые Горы. Я выехала из Петербурга в конце мая и теперь вполне отдыхаю и нравственно и физически, окруженная лаской и любовью моих близких. Меня здесь все так радует, что я боюсь даже слишком предаваться этому счастью! В этом году было освящение собора архиереем Макарием[132] (впоследствии митрополит Московский). Моя сестра, Александра, приехала ко мне на все лето из Крыма, а с ней ее племянник Гончаров. Мещерский тоже приехал на великолепное освящение церкви[133]. Мое здоровье поправляется, и в этот день я себя чувствовала хорошо, так что могла присутствовать на вторичном благословении этого святого места».

Когда бабушка переехала в свой дом, нас известили о том, и я поехала к ней.

Весело, незаметно проехали мы с братом 350 верст до Нижнего, а там двое суток в вагоне до Петербурга — и вот я опять на Миллионной в своих маленьких комнатках на антресоли, окруженная ласкою и баловством доброй моей бабушки.

Видимой перемены в ее здоровье я не нашла; она была все так же бодра, неутомима и деятельна; только жаловалась на сломанную руку, говоря, что она перестала быть ей послушной, и поблагодарила Бога, что он сохранил ей правую руку, которая была ей еще так нужна!

Сожительница моя и компаньонка, m-me Hertz (Герц), которую бабушка пригласила для меня, была родом из Лифляндии, с очень симпатичной наружностью, хорошо воспитанная и порядочная музыкантша; она произвела на меня с первого раза самое хорошее впечатление, и несмотря на то, что ей было 37 лет, а мне 17, мы с первого вечера, проведенного вместе, полюбили друг друга, а через несколько дней сделались друзьями.

Музыка, которую мы обе любили восторженно, соединила еще более нашу дружбу. Играя симфонии Бетховена, мы иногда обе в одно время начинали плакать...

Когда же я веселилась, хохотала, радовалась, она была счастлива, смеялась со мной и радовалась моим радостям.

Мы часто ездили с ней в концерты, оперы и вообще слушали очень много хорошей музыки; на другой день после концерта отправлялись за нотами к Дюфуру, брали все, что слышали накануне, и, возвращаясь домой, с жадностью разыгрывали в четыре руки или на двух роялях.

Капри и Ламкин продолжали ходить, давать мне уроки. Первый часто обедал у бабушки и много играл. Каждое воскресенье у нас бывала m-lle Есипова, знаменитая пианистка[134]; тогда она еще училась в консерватории и целыми часами услаждала нас своей прекрасной игрой.

В эту зиму я была на дебюте двух наших знаменитостей, молодых артисток, Есиповой, участвовавшей в концерте своего учителя Лешетицкого, и Лавровской — в роли Вани в «Жизни за Царя»[135]. Лавровская произвела на меня своим голосом чарующее впечатление; грудные ноты ее были могучи, полны и между тем так симпатичны! Ни раньше, ни после, ни в России, ни за границей я подобного контральто не слышала. Пела она так осмысленно, с такой душой, поражая и восхищая своим голосом, своей непринужденностью и простотой. Публика приняла ее с восторгом; после первой же песни «Как мать убили» театр загудел аплодисментами, а я сидела восхищенная, готовая просто прыгнуть на сцену и приветствовать молодую артистку!

По поводу пения я расскажу следующий случай. Однажды в доме Татьяны Борисовны появился какой-то датчанин, обучающий пению по цифрам; но

главное достоинство, по его же словам, было в том, что у него могли выучиться петь в несколько уроков лица, не имеющие голоса, и за подобное удовольствие он брал только 1 рубль в час с каждого ученика; еще удобнее и приятнее было то, что все должны были петь вместе, т. е. хором — дешево и весело. Все, кому бабушка ни предлагала подобного учителя, с радостью соглашались брать у него уроки. И как было не пожелать! Без труда, без большой траты денег приобретался голос и умение им владеть!.. Ученики и ученицы должны были съезжаться два раза в неделю у бабушки в зале.

Я пригласила всех своих кузин и кузенов также приезжать на эти уроки. С первого же раза учителю нашему посчастливилось — съехалось человек 40; тут были дамы средних лет, молодые, старые девы, юные девицы и молодые люди.

Поставили перед нами черную доску, на которой учитель написал цифры, вооружился палкой в 2 аршина и, разместив нас по рядам,— старших впереди, а молодых сзади, чему мы очень были рады, так как смех начинал нас разбирать и мы боялись строгих взглядов старших; потом стал в уморительную позицию, объясняя нам название цифр смешными какими-то звуками, затянул первую ноту, приглашая нас вместе петь за ним; голос его был не из благозвучных, но когда почтенные дамы начали ему вторить, стараясь попасть в тон и не попадая,— вышло что-то невообразимо смешное!.. И о ужас! В рядах, где сидела молодежь, послышался сдержанный хохот, а когда последовали 2-я и 3-я ноты, тональность совершенно исчезла и вместо «ré» и «mi» слышались дикие, фальшивые звуки и вслед за этим последовал дружный взрыв хохота...

Первый урок прошел более в смехе, чем в пении. Деньги, собранные с учеников и учениц, были у m-me Hertz, и, когда все разъехались, учитель бросился на

них, как голодный зверь, и дрожащими руками считал рубли, боясь, вероятно, что не все достанутся ему; но, получив их сполна, довольный, сияющий, раскланялся с нами, а m-me Hertz, провожая его печальным взглядом и несколькими вздохами, тихо сказала: «Pauvre homme! Comme il est avide!»[136]. Уроки пения продолжались недолго; с каждым разом приходилось получать рубли все менее и менее, и пришлось ему выдумать другой способ приобретать их.

Возвратясь однажды с прогулки и принеся с собою кипу нот, мы с m-me Hertz сели за фортепиано разыгрывать их и так увлеклись, что не заметили сзади себя слушателя. Как сейчас помню — кончили мы увертюру «Hébrides» Мендельсона и обе в полном восторге от этой музыки воскликнули: «Oh! Que c'est beau!» Вслед за этим услышали сзади себя голос, повторивший наше восторженное замечание, и, обернувшись удивленные, мы увидели в уголке сидящую маленькую, некрасивую фигурку, с большим коком на голове, которая не замедлила встать и, подойдя к нам, представилась: «Astronome D-r Pitschner, privat-docent à l'académie de Genève»[137]. Вслед за этим господин астроном объяснил нам, что он приехал в Россию читать астрономические лекции, но, не имея знакомых, обратился к «son excellence m-me Potemkine», которую он имел счастье уже видеть, и она обещала ему свою протекцию, а теперь он по ее приглашению явился обедать. И каково? — Это с трех часов дня!.. Узнали мы, что он будет вечером читать у нас об астрономии и привезет с собой всю движущуюся солнечную систему, великолепно сделанную в Париже, и если «son excellence m-me Potemkine» заинтересуется его чтением, она обещала попросить принца Петра Георгиевича Ольденбургского принять его и позволить в его зале читать ему лекции на французском языке.

Побеседовав с ним немного, мы оставили его дожидаться обеда, надеясь вечером услышать от него много интересного, и удалились в свои комнаты.

Пришел вечер; собралось несколько старушек слушать астрономическую лекцию, и Пичнер, расставив свою солнечную систему на большом круглом столе, где с трудом он поместил ее, пригласил всех нас слушать его. Все уселись на некотором расстоянии от стола и с любопытством следили за астрономом, который завел свою машину, и все планеты запутешествовали вокруг солнца; тогда он, увидя произведенный эффект на своих почтенных слушательниц, потирал себе руки с гордостью, поправлял свой уморительный кок и наконец начал свои объяснения. Старушки с большим любопытством смотрели на все движущиеся миры и слушали со вниманием толкования доктора Пичнера, но когда он остановил свою машину и начал говорить на плохом французском языке тихо, восторженно, то понижая голос, то возвышая его, и, вероятно, от восторга закрывал свои маленькие глазки или для того, чтобы во мраке лучше представлять себе свои звезды, о которых он говорил, как влюбленный, меня и m-me Hertz он заразил своим восторгом, но милых старушек он окончательно усыпил своею длинною монотонною речью. Одна за другой они клонили свои головы... и засыпали...

Но вот вдруг господин астроном открыл свои глазки и громко восторженно закричал: «Maintenant je vais finir, par vous expliquer ce que c'est que les Nébuleuses sont...»[138] Все вздрогнули, проснулись и, покачивая головами, делали вид, что все прослушанное очень интересно, что они все слышали и уж никак не спали, так что Пичнер остался в полном удовольствии, воображая, что он произвел большой эффект, и, вероятно, заранее видел себя в зале принца Ольденбургского, на эстраде, поучающим русское аристократическое общество...

Желание его не замедлило осуществиться: зала во дворце принца Петра Георгиевича была ему дана, и лекции его начались, но нельзя сказать, чтобы публики было много; бедный Пичнер рассчитывал на большее число слушателей, но пустые стулья преобладали числом над занятыми. Мы же с m-me Hertz остались верными нашему астроному и усердно посещали его лекции.

Он, со своей стороны, не забывал приходить обедать каждый день к бабушке Потемкиной и всегда забирался с 3 часов; ходит, бывало, по пустым гостиным, сложив по-наполеоновски свои руки... Он, по-видимому, всем надоел — никто с ним никогда не заговаривал и часто делали вид, что его даже не замечали. Первые дни его прихода в дом мы с m-me Hertz просто из сострадания приходили его занимать, когда беседой, а когда играли по его просьбе на фортепиано, а потом, разговорившись с ним, мы, заинтересованные астрономией, задавали ему вопросы касательно этой науки; он обрадовался, что предмет этот нас интересует, стал приносить нам астрономические сочинения, карты и объяснять нам то, что мы не понимали и не знали, и время для него и для нас проходило незаметно и приятно. Наконец кончил он свои лекции в зале принца Ольденбургского, пришел день его отъезда, и он явился проститься и поблагодарить «son excellence m-me Potemkine», не забыв при этом подать ей маленький счет: pour une séance d'astronomie dans la sale de son excellence m-me Potemkine 10 roubles et pour 20 leçons d'astronomie avec m-elle la princesse Hélène Galitzine 100 r.

Бабушка позвала меня и спросила: «Когда и какие ты брала уроки у господина Пичнера?», на что я ей ответила, что уроков я не брала и не просила его о них, а что очень часто с ним беседовала об астрономии, не предполагая, что он будет считать наши разговоры за уроки.

Однажды в воскресный день, не совсем еще проснувшись и лежа в полудремоте, я услышала поспешные шаги по моей лесенке и шуршанье как бы шелкового платья. Я открыла глаза и увидела перед собой молоденькую бабушкину горничную с улыбающимся лицом; она держала в руках красивое сиреневое шелковое платье с длинным треном, осторожно приподнимая его над полом.

— Татьяна Борисовна изволили приказать вам надеть это платье, чтоб ехать с ними во дворец великого князя Николая Николаевича к обедне!— сказала она, показывая мне красивое платье, которое принесла.

Платье это показалось мне знакомым; да бабушка недавно надевала его на свадьбу княжны Голицыной. И как же я надену его? Как оно будет сидеть на мне?.. Хотя бабушка и одного роста со мной... думалось мне.... Но горничная, заметя мое недоумение, поспешила успокоить меня и, развернув платье передо мною, показала, что оно переделано по моей талии. Впоследствии моя добрая бабушка довольно часто делала это, т. е. переделывала свои туалеты для меня; это была своего рода хитрость: чтобы не ворчали и не удивлялись тому, что она меня балует, она делала себе лишние платья, так как над ней контроля не могло быть, и, надев раз или два, отдавала их мне или переделывала для меня.

Свадьба, о которой я упомянула выше, была устроена бабушкой.

Княжна Голицына, воспитывавшаяся у своего деда Фандуклея, человека очень богатого, полюбила 50-летнего старика, генерала Краснокуцкого[139]; дед ее не соглашался на этот брак, находя жениха слишком старым для своей 17-летней внучки, и хотел лишить ее наследства, если она не послушается его; но Татьяна Борисовна, видя серьезную любовь княжны к генералу, уговорила деда дать согласие и сама была посажёной матерью; благословение ее было им на

счастье, и старшую дочь они назвали в память Татьяны Борисовны — Татьяной.

Я рада была ехать во дворец к великой княгине Александре Петровне... но эта несчастная застенчивость, от которой я не могла еще отделаться, отнимала половину того удовольствия, которое я могла иметь.

После обедни нас пригласили к завтраку; к моему счастью, великий князь Николай Николаевич и великая княгиня Александра Петровна были так просты в обращении, так радушны и добры, что я скоро оправилась от страха, захватывающего все существо людей несмелых, и чувствовала себя как бы в своей компании, а не в семье великокняжеской. Завтрак прошел очень шумно, и в мою честь, как вновь приехавшей девицы, собирающейся выезжать в столице, добрейший и радушный великий князь велел подать шампанского и, чокнувшись со мною, выпил бокал за мой успех в свете.

С легкой руки великого князя через несколько времени я была приглашена на бал графиней С. А. Толстой[140].

Первый бал для молодой девицы, собирающейся выезжать, можно назвать почти событием в жизни; от него зависит многое.

Моей дорогой матери со мной не было; бабушку мне совестно было беспокоить, и я сама начала придумывать туалет. Во-первых, я была уверена, что мать сшила бы мне белое платье, потому что это был ее любимый цвет, я остановилась на этом цвете; но, однако, быть белым пятном мне показалось некрасиво, я вспомнила, что кораллы, которые мне брат привез из плавания, будут мне к лицу, а чтобы прибавить еще жизни и элегантности туалету, у меня блеснула мысль очень удачная, как мне показалось: заказать красные туфли.... Итак, я остановилась на белом платье, кораллах на шее и красных туфлях. На

этих соображениях застала меня одна из моих тетушек, приехавшая ко мне; я сообщила ей, что приглашена на бал, поспешив описать придуманный мною туалет; тогда тетушка с ужасом воскликнула: «Да ты будешь похожа на гуся!» И в самом деле, я была бы белым гусем с красными лапками! Спасибо тетушке.

Наконец пришел ожидаемый и желанный вечер. О платье позаботилась дорогая бабушка. Оно было очень простое: белое тарлатановое[141], украшенное длинной водяной зеленью и белыми лилиями; кораллы не помешали, я их все-таки надела.

До какой глупости иногда доходят девицы! Я вообразила, что без куафера[142] на бал невозможно причесаться, поэтому был приглашен г-н Альфред с Морской; и что он сделал с моей несчастной головой!.. Тогда носили длинные букли, он меня уверил, что если сделать локоны из моих волос, то они разовьются, а потому наградил меня фальшивыми, взявши с меня за них 25 рублей; из моих же волос он сделал большой шиньон, какой тогда носили, но так как волос было в избытке, то ему пришлось усердно укалывать, и, не жалея шпилек, он вколол в мою несчастную голову 125 штук плюс 25-рублевые букли.

Но тогда это было нипочем, голова была так свежа, так молода, что все выносилось. Я должна сказать в свое оправдание, что в первый и последний раз меня причесывал куафер, я предпочитала потом всегда простую прическу, которую мне устраивала моя Дуняша.

Одевшись, я пошла показаться бабушке. Все находящиеся в комнате за чайным столом обступили меня, оглядывая со всех сторон, а у меня сердце уже начинало стучать от предстоящего удовольствия и от волнения...

Мне предложили чаю; я уселась на кончике стула, боясь измять свое платье, осторожно взяла чашку чая, который в другой раз выпила бы с удовольстви-

ем, закусывая вкусными булочками и сладкими крендельками, но теперь я не смела до них дотронуться, боясь испачкать белые перчатки, и несмотря на маленькие глотки, какими я пила чай, он застревал у меня в горле; услышав, что подана карета, я, не допив чай, быстро встала, получила благословение от бабушки и пожелание веселиться от всех присутствующих, поспешно вышла, сопровождаемая m-me Герц.

Ночь была морозная; от лошадей так и валил пар, и быстро они мчались, как бы подгоняемые моим нетерпением. Скоро мы остановились на Гагаринской набережной у освещенного подъезда графини Толстой.

Швейцарская была полна приехавшими, и каждую секунду, пока мы с m-me Герц разоблачались, дверь отворялась и впускала то дам в кружевах, шелку и брильянтах, то блестящих офицеров, гремевших шпорами и саблями, то штатских, и все быстро снимали шубы, быстро поднимались по лестнице, раскланиваясь с дамами и весело разговаривая с некоторыми; у всех было написано на лицах оживление, удовольствие, у многих самодовольствие.

К моему ужасу, я не встретила ни одного знакомого мне лица!

Очутившись одна в зале среди пестрой и элегантной толпы, я искала глазами знакомое лицо, но вот, наконец, увидел меня хозяин дома, граф Толстой. С приветливой улыбкой он подошел ко мне, крепко по-русски пожал мне руку и повел к графине; она ласково посмотрела на меня и сказала:

— C'est votre premier bal, il faut que vous y amusiez[143], и, подозвав свою племянницу С. П. Бахметьеву[144], поручила ей представлять мне кавалеров.

Графиня была некрасива, но сложена превосходно, и все движения ее были до такой степени мягки, женственны, а голос ее был так симпатичен и музыкален,

что, слушая ее, понятно было, что она вдохновляла своего мужа-поэта.

Когда читаешь лирическую поэзию графа Алексея Толстого, она живая встает в ваших глазах во многих его стихотворениях, как, например:

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой и грустный, и звонкий
С тех пор в моем сердце звучит.

Новые знакомые мои, которых хозяйка бала подводила ко мне представлять их, сменяли один другого.

Вальс не умолкал, и я в упоении носилась с ними по зале под нежные, иногда совсем умирающие звуки известного тогда тапера Шмидта, совершенно входя в свою новую сферу, заражаясь веселым бальным настроением.

В антракте между танцами ко мне подошли несколько генералов, товарищей моего отца; узнав, что я дочь князя Юрия Голицына, они хотели со мной познакомиться и все так симпатично говорили о своем старом товарище «Юрке Голицыне», вспоминая его юношеские шалости, остроты, с любовью рассказывали мне о нем; а я слушала их и, видя в товарищах отца дружескую симпатию к нему, стояла растроганная, счастливая и гордая, что мой отец, несмотря на десятки лет, истекших с тех пор, как его не видели в кругу товарищей, не был ими забыт и вспоминался добрым словом. Товарищи отца особенно мне показались милы, и я даже одного из них, графа Ностица, навсегда окрестила в симпатичного графа[145].

Но кто меня окончательно очаровал в первый мой выезд — это Б. Маркевич, наш талантливый романист[146]. Он был красавец, и при этом все в нем было

элегантно и благородно; его открытый белый лоб, пышные белокурые волосы придавали его лицу что-то особенно красивое и поэтическое. Он также пожелал быть мне представленным.

Несколько тактов мазурки, любимого танца всех тех, кто умеет ее хорошо танцевать, произвели волнение между кавалерами. Они стремились к своим дамам более, чем в остальных танцах, так как редко приходится кавалерам танцевать мазурку по обязанности, да и дамы, обыкновенно, оставляют мазурку для более симпатичных им знакомых. Только на первом бале этих ухищрений нет; и танцуешь с тем, кто первый пригласит. Моим кавалером мазурки был Ка-ев, очень некрасивый молодой человек, но разговорчивый, так что мазурка прошла оживленно.

За ужином мой кавалер сделался мрачным и примолк; правда, что Маркевич, удостоивший меня сесть по другую мою сторону, разговаривал очень много со мной, так что моему кавалеру приходилось молчать, но впоследствии оказалось, что были причины, которые изменили его настроение.

Я, как девица, приехавшая из глуши Пензенской губернии и воспитывавшаяся там, заинтересовала его, вероятно, и он, не умолкая, говорил со мной, расспрашивая меня о нашей жизни, о деревне, о народе и т. п., а я была в восхищении, что Маркевич беседовал со мной.

Итак, мой первый бал удался для меня сверх моих ожиданий, и все мои страхи, волнения были напрасны. Я возвращалась домой в восторге, с головой, наполненной разными приятными впечатлениями, но с сердцем нетронутым.

Проснувшись на другой день после моего первого бала, я не поняла в первую минуту, во сне ли все это было или наяву, но, окинув взором комнатку, я увидела свое белое платье измятым, разбросанные цветы

по столам и стульям, котильонные значки[147] и сказала себе, что это был не сон!

Целый день я ничем не могла заняться от наплыва новых впечатлений и ходила из комнаты в комнату, прислушиваясь как будто к очень отдаленным звукам... и звуки эти все напоминали вальсы, мазурки и т. п.

Вечером я должна была ехать с m-me Герц в концерт, и, чтобы не опоздать, я перед обедом пошла надеть подходящий туалет; мы любили приезжать к началу концерта, чтобы прослушать все, что обещала программа, а в этот раз концерт начинался с 5-й симфонии Мендельсона, которая меня очень интересовала и которую я должна была слушать в первый раз.

Входя в зал певческой капеллы, мы услышали начало 5-й симфонии Мендельсона. Могущественные аккорды allegro, исполненные оркестром, сразу унесли с собой мою душу, и я не жила между людьми!.. Я слышала в ней, в этой музыке борьбу, отчаяние несчастных страждущих душ — и как бы сама ощущала всю пережитую ими земную драму и, наконец, смерть!.. В andante я слышала плач, просьбу о спасении, молитвы, и я не в состоянии была более удержаться — я плакала... и без стеснения утирала свои слезы, которые текли ручьями. Милая Софья Яковлевна Веригина[148] сидела около меня и не подозревала о моем душевном состоянии и о причине его, сама любивши музыку до страсти, ласково глядела на меня и, похлопав по плечу, сказала:

— C'est tout-à-fait son père-sensible à la beauté de la musique[149].

Когда же оркестр заиграл saltarello, мне представились в этих звуках пляска дьяволов в аду и их торжество над этими несчастными душами. Не знаю, что хотел выразить в этой симфонии великий композитор, но настроение мое было такое, что другого я слышать и понимать не могла.

XVIII

Концерт, данный отцом в Дворянском собрании.— Лето, проведенное в Святых Горах у бабушки Т. Б. Потемкиной

В описываемую мной зиму 1868 г. отец мой часто бывал в Петербурге и давал концерты, которые доставляли ему средства к жизни. Первый его концерт, который собиралась я слушать и ожидала с нетерпением, был уже назначен, но по болезни его отложен.

— Надеюсь, что бабушка отпустит тебя на мой концерт,— сказал отец,— хотя я слышал мнение некоторых родственников, что мне, родовитому князю, неприлично выходить на эстраду, а тебе, как дочери моей, даже непристойно быть в моем концерте; надеюсь, что ты не разделяешь этих взглядов!

— О! конечно, нет! — ответила я,— и жду не дождусь, когда увижу тебя на эстраде.

Всего я не умела и не могла ему высказать, что чувствовала в ту минуту; я могла и умела только горячо обнять и поцеловать его. Он понял меня,— его глаза наполнились слезами, немного погодя он сказал:

— Проживать, как я проживал состояние, было стыдно, и теперь я стыжусь былого, а зарабатывать честно свой насущный хлеб не стыдно, и дети не должны видеть в этом унижения отца.

— Конечно! — отвечала я, и, взяв его под руку, с гордостью шла рядом с ним, и сердце мое было полно любви к нему.

— Но как же ты, больной, будешь дирижировать, ведь ты с трудом поднимаешься на лестницу,— сказала я.

— Что делать, немного силы воли и с недугами можно справиться; я не на смертном одре, а концерта откладывать еще нельзя.

Бабушки не было дома. Когда она вернулась, он пошел на ее половину. Бабушка всегда встречала отца моего ласково, но смотрела на него, как смотрят на балованного, но милого ребенка, опасаясь всегда, как

бы этот баловник не выкинул какую-либо шалость, и в этот раз бабушка особенно тревожно встретила его. Отец мой, поцеловав ее руку и сверкнув глазами (это всегда было, когда он волновался или сердился) ,сказал: «J'ai à vous parler ma tante»*, обращаясь же ко мне: «Hélène! vous pouvez aller dans votre chambre»**.

Испуганно я уходила, ожидая грозы. Гроза не замедлила... Отец что-то очень громко говорил, сердился, спорил, но до моей комнаты долетал только шум; понять я ничего не могла, но была в страшном волнении.

— Позовите княжну! — услышала я голос бабушки.

Ни жива... ни мертва... входила я в ее кабинет. Отец при виде меня стал стихать. Неудовольствие его было по следующему поводу: поехал он (но не один) в свое родовое имение Салтыки, которое было в опеке; опекун же через полицию попросил его удалиться оттуда. Это было, конечно, более чем не деликатно и не могло не взбесить отца, тем более что он предполагал, что это было сделано по желанию моей матери, но мать была непричастна этому.

Вообще бывает так: если виновного оскорбляют, то он уже не чувствует себя виноватым и его виновность в глазах его умаляется. Отец же говорил: «Да, я виноват перед женой и детьми,— я должен нести кару. Бог мне ее посылает — я прощаю!» Это была последняя неприятность, последнее недоразумение между ним и матерью. Через три года отец отдал нам все, что имел: Салтыки, в которых оставалось полторы тысячи десятин земли, и базарную площадь, приносившую десять тысяч ежегодного дохода. Евгений, брат, отказался от своей части — и мы, три сестры, были владетельницами оставшегося состояния отца при его жизни.

---

* Мне надо поговорить с вами, тетушка.

** Елена, вы можете идти в вашу комнату.

Наконец пришел желанный, ожидаемый день: вечером с графиней Б-вой и ее дочерью я еду в концерт моего отца.

С волнением подъезжали мы к Дворянскому собранию, заражая друг друга нетерпением скорее услышать то, что обещала нам афиша, которой я заранее запаслась. Какое-то необыкновенно радостное чувство с примесью гордости было у меня на душе; входя в зал, чем-то родным, чем-то своим все мне казалось, и чудилось даже, что вся эта громадная публика и меня должна знать или, по крайней мере, догадываться, что я дочь князя Юрия Голицына, который сейчас должен выйти на эстраду со своей магической палочкой, и я, пробираясь к своему месту, гордо поднимала свою голову...

Публика восторженно встречала князя-артиста, выступавшего на эстраду и гордо окидывавшего своим взглядом кругом себя. Взгляд его упал и на меня... он ласково улыбнулся и, подняв свою руку, дал знак оркестру. В публике сделалась тишина, оркестр, как один инструмент, заиграл. Исполнялся «похоронный марш Шопена», после этого исполнено было много русских народных песен хором, которым также дирижировал мой отец, и тут он был совсем в своей сфере: народные звуки и хор — это было его детище.

Накануне одного из его концертов в 1869 г., 13 февраля, в котором участвовали г-жи Лавровская, Платонова, Леонова, Петров, Власов и Гордеев[150], у него так разболелись ноги, что на концерт его внесли на носилках, и он дирижировал сидя; когда же оркестр под его управлением исполнял «Камаринскую» Глинки, он не вытерпел, русская душа проснулась, забыл он болезни свои и встал. Три раза публика заставила повторить «Камаринскую» — так чудно была она исполнена.

Возвращаюсь к своему рассказу. В антрактах один из знакомых отца моего передал мне следующий рассказ о нем.

— Ваш батюшка, как вы знаете, княжна, шутник и за словом в карман не полезет. Так, однажды князь, находясь в Петербурге, отправился в Итальянскую оперу послушать приехавшую знаменитость, Бозио или Марио, не помню. Около него сел также какой-то любитель пения, но любитель своеобразный: он все время подпевал певцам и довольно громко; конечно, он этим мешал слушать и сильно сердил князя. Когда занавесь опустилась и театр наполнился громом аплодисментов, ваш батюшка начал свистать. Сосед его, дилетант, с негодованием и изумлением посмотрел на князя, сказав: «Милостивый государь! Как возможно свистать подобной европейской знаменитости?!... Это вандализм!» — горячился он. «Да помилуйте,— ответил ему князь,— как же мне не свистать называемой вами знаменитости, когда она мешала мне вас слушать!..» Любитель примолк и больше не подпевал.

В мае, вместе с братом, я оставила Петербург и отправилась в Огарево. Я везла с собой приглашение бабушки всему нашему семейству провести лето в Святых Горах. Мать сказала, что не может ехать, так как у нее большие переделки в доме; сестра Соня отказалась ехать, чтобы не оставлять маму одну, и поехали сестра Таня, Катенька и я.— Путь был очень длинный — считали около 1500 верст — и утомительный в жаркие летние дни. Наконец мы добрались до святогорских лесов. Это было рано утром, и дорога все делалась красивее, а когда мы выехали из леса и подъехали к Донцу, картина была величественная! На той стороне реки, в горах, покрытых сосновым лесом, поднималась громадная причудливой формы меловая скала, на которой ютилась небольшая церковь во имя Св. Николая; выше этой скалы выделялась на голубом фоне неба красивой архитектуры церковь Вознесения; у подошвы этих гор, покрытых лесом, у берега Донца расположен монастырь, и посреди его стен красовался великолепнейший собор, только что отстроенный, но еще не освященный, и вся эта кар-

тина отражалась в спокойных и чистых водах Донца. На левой стороне от моста, на который мы с грохотом въезжали, на одной из высоких гор мы увидели и дом дорогой нашей бабушки, также окруженный зеленью и чудными пирамидальными тополями, картинно выделяющимися своею стройностью и вышиной. Одним словом, картина Святых Гор так хороша, что можно смело повторить всем бабушкины слова: «Придите и посмотрите на творения Божии и воздайте хвалу Его святому имени».

Дорога к дому шла у самых стен монастыря и захватывала набережную реки, где много сидело, стояло и шло богомольцев. Потом повернули мы довольно круто налево и поехали вверх по реке; дорога шла аллеей; направо и налево был густой лес, в некоторых местах, верно, специально прорубленный к стороне реки, чтобы открыть чудный вид на Донец и его окрестности по ту сторону.

Радость свидания с бабушкой и радость въезжать в такой благословенный край, видеть такую красоту природы заставляла сердце мое биться сильнее; а когда подъезжали мы к подъезду и стук наших экипажей и топот копыт делался сильнее и звучнее,— я еле сидела; так хотелось мне выпрыгнуть из экипажа поскорее.

— Наконец-то приехали, дети! — услышали мы голос бабушки, которая спускалась к нам навстречу с лестницы, поддерживаемая лакеем.

Наверху лестницы встретила нас большая компания приехавших из Петербурга с бабушкой на лето в Святые Горы. Я не могла еще никого толком разглядеть, так как голова у меня кружилась от нашей дальней дороги и от радости, что, наконец-то, приехали, и от счастья видеть бабушку.

— Ну, детки, идите в приготовленные вам комнаты,— сказала бабушка,— оденьтесь, пейте чай, а я пока съезжу к обедне.

Она уехала, а нас повели в наши апартаменты. Из наших окон был виден весь монастырь. Я полюбовалась еще несколько секунд красотой окружающей природы и мигом стала сбрасывать с себя дорожное, пыльное платье и спешила одеваться, чтоб идти пить чай со всей компанией, ожидавшей нас. Я застала все общество в зале за чайным столом; оно состояло из женского персонала, и только один старичок, домашний доктор бабушки, француз Патенотр, замешался между дамами.

Дверь на террасу была открыта настежь, когда я вошла, и все тот же вид на меловую скалу, речку и монастырь открывался чудной панорамой. Благовестили к «достойной». Через несколько времени услышали мы стук экипажа, и в зал вошла бабушка и уселась с нами за стол на свое место. Она сказала мне, что ожидает скорого приезда бабушек: княгини Веры Федоровны Голицыной[151] и княгини Александры Борисовны Мещерской (ее сестры) с племянником Гончаровым, и сожалела о том, что моя мать не могла оставить дела свои и хозяйство.

На другой день нашего приезда, с первым ударом монастырского колокола к обедне, лошади были поданы к подъезду, и мы спешили надевать шляпы, чтобы не заставить себя ждать. Четверик белых лошадей, запряженный цугом в карету, стоял впереди остальных двух экипажей. Спускаясь с лестницы, бабушка взяла меня за руку и сказала: «Ты садись со мной!» — а когда мы отъехали, она, взглянув в открытое окно кареты, сказала: «N'est ce pas que c'est beau Святые Горы et je remercie Dieu de pouvoir jouir encore de ce séjour*. Когда мы подъезжали к монастырю, народ толпой шел в церковь и, увидав бабушку, все низко ей кланялись; на всех лицах была видна любовь к ней, а ее добрые глаза так ласково смотрели на этот

* Не правда ли, как хороши Святые Горы? И я благодарю Бога, что могу еще наслаждаться своим пребыванием здесь.

серый люд, пришедший за несколько десятков верст помолиться в Святые Горы; и она также любила их, любила веру их в Бога, не мудрую, но крепкую, непоколебимую. «Блажени нищие духом, ибо их есть царство небесное»,— говорила она, глядя на богомольцев.

Служба в монастыре и пение были очень хорошие, порядок примерный; монахи держали себя скромно, не выходили из церкви, не смеялись на клиросах, не выглядывали на молящихся, что, к несчастью, часто замечается в некоторых монастырях; одеты были все чисто; одним словом, ничто не шокировало, не нарушало общего впечатления и ничто не мешало молиться. Архимандрит, отец Герман, был настоятелем монастыря[152]; он в высшей степени строгой жизни и хороший монах, поэтому мог требовать того же и от младшей братии обители. Он был умным настоятелем и прекрасным хозяином: деятельным, заботливым, неутомимым как в духовных делах своих, так и в хозяйственных. Архимандрит Герман никогда не принимал у себя дам, исключая бабушки Потемкиной и тех только, кто с нею приезжал к нему; так и остальные монахи не имели права принимать у себя в кельях гостей женского пола. Роста он был маленького, худенький, но голос у него был большой, звучный, задушевный баритон, и служил он превосходно; в особенности любила я, когда он служил панихиды.

После обедни поехали мы на кладбище поклониться могилам родственников, которые похоронены там, в церкви Антония и Феодосия; там есть и ход в пещеры. Вот в этой церкви бабушка желала быть похороненной и показывала место, которое она назначила себе под образом Марии Магдалины, когда Спаситель, по воскресении, явился ей. Я всегда горько плакала, когда бабушка указывала мне место, где будет лежать, но Господь судил иначе: не пришлось ей умирать в Святых Горах и не пришлось быть даже похороненной там.

Возвращаясь домой, бабушка рассказала мне анекдот об отце в следующих словах: «Ехала я здесь же, в Святых Горах, с твоим отцом к обедне, в этой же карете.— Когда он сел со мною, я сказала ему: «Какой ты толстый, Юрка, и как неудобно с тобой сидеть!»

— Погодите, тетушка,— ответил он мне,— когда будем возвращаться от обедни, вам будет просторно и удобно.

— Почему?— спросила я.

— А потому,— продолжал твой отец,— что мы «живот Богу предадим».— «Вот какой он находчивый и какой каламбурист!..» — сказала она.

Жизнь наша текла тихо, смирно, однообразно, помонастырски. О светских удовольствиях забыли както думать; да оно и не могло быть иначе, так как близость монастыря, частый звон колокола, призывавший на молитву, образ мыслей бабушки, которая царила над нами и никто не мешал ей простирать свое благотворное влияние на тех, кто хотел ее слушать, не позволяло даже помыслить о светских удовольствиях.

Развлечения наши были: катанье на лодке, в экипажах, верхом и прогулки пешком. Соседей было мало, а молодежи никакой. Когда бабушка, княгиня Мещерская, приехала с А. И. Гончаровым, наше многочисленное общество дам воспрянуло! Он был такой умный, интересный собеседник, но так как он был единственный, ему трудно было успевать быть любезным со всеми, вследствие этого он нажил себе врагов, и в нашем, доселе мирном, уединении зародились сплетни. А тут еще я затеяла кататься с ним верхом, и это подало повод говорить о том, что я влюбилась в Гончарова, а он в меня. Но ни с той, ни с другой стороны чувства этого не было; нам весело было вместе разговаривать, кататься, заниматься музыкой, и отношения наши были просто дружеские.

Бабушка Мещерская была очень некрасива, но родовитость, высокий рост и умное выражение глаз

сглаживали ее дурноту. Одевалась она всегда в белое легкое платье, на голову надевала белый чепец, а сверх него тюлевый шарф, на плечи накидывала пунцовый крепоновый длинный шарф[153], как носили их в двадцатых и тридцатых годах. Вообще вид у нее был очень аристократичный, но около моей дорогой бабушки она все-таки теряла, хотя можно было угадать, что они сестры. Доброта и великодушие, присущие их семье, и у нее были, но в привязанностях она была непостоянна, и, имея горячее сердце и вспыльчивый нрав, она или обожала, или ненавидела. Вот где была громадная разница между сестрами. Татьяне Борисовне чувство ненависти или мести совершенно не было знакомо; любовь, великодушие, ровность в поступках и в обхождении с людьми не покидали ее, тогда как Александра Борисовна им иногда изменяла, и рядом с великодушными поступками бывали и странные, заставляющие сомневаться в ее добром сердце, которое у нее отнять все-таки нельзя было.

Таня с Катенькой недолго насладились святогорской жизнью, так как первой пора было начинать ванны, и бабушка Потемкина отвезла их в Славянск и устроила в своем доме, который был в нескольких шагах от соленых озер и ванн. Славянск тогда представлял очень мало интереса как общественное местопребывание, и удобств никаких: пески непролазные, жара страшная, от которой и скрыться было негде, так как сад только разводился; приезжие больные помещались просто в хатах, извозчиков было мало, и большая часть публики приходила купаться по образу пешего хождения. Лучший дом во всем Славянске был Потемкиных, где жила Таня, при этом доме были флигеля, где помещались разные больные на счет бабушки, и разбит был еще молодой сад. Самый город, а следовательно и церкви, были довольно далеко от дома; все старушки, а также и Катенька с Таней тосковали без службы. Бабушка не замедлила успокоить желающих посещать храм Божий и в две

недели устроила в славянском доме церковь во имя Св. Пантелеймона, и говорила, что она сделала это в память Таниного там пребывания.

В то время и в Святых Горах готовились все к освящению собора, которое должно было быть 15 августа, в день храмового праздника. Ждали преосвященного Макария (впоследствии митрополит Московский) и всех властей из Харькова.

Приезд архиепископа для освящения храма — это великое событие в селе, а также и для монастыря. Народ из всех окрестных деревень стекается массами, ожидая получить благословение от преосвященного и послушать его службу. Так и тогда все население ожидало приезда преосвященного Макария, для освящения Святогорского собора. Все взоры и мысли были обращены на дорогу, откуда должен был ехать владыко.

Бабушка выслала за ним свой четверик белых лошадей, и как только увидели его, с колокольни возвестили приезд преосвященного звоном в колокола; народ заколыхался и оживился; мы все стояли на балконе, откуда смотрели на эту торжественную картину.

Когда коляска преосвященного повернула по дороге к дому, мы вошли за бабушкой, которая шла к подъезду встречать преосвященного.

Вышедши из экипажа, преосвященный спешил навстречу бабушке: она стояла наверху площадки, ожидая получить его благословение; мы все также подходили за благословением и целовали благословляющую руку. Преосвященный Макарий был высокого роста, очень благообразный и ко всем почти обращался с добрым, радушным словом. Он отличался изысканными манерами, умом, тактом и знанием, как вести себя со светскими, так и с духовными лицами, одним словом, Макарий был монах образованный, ученый и воспитанный.

Накануне Успения была торжественная всенощная, которую служил архиепископ, а в день Успения совершилось и освящение храма. При Святогорской обители есть скит, в который народ и посторонние лица допускаются только один раз в год, а именно на другой день Успения; тогда Донец наполняется многочисленными лодками, которые перевозят богомольцев в скит. Первая лодка, которая отчалила, была лодка архимандрита, ехавшая с хоругвями и причтом, за ней шла лодка бабушки Потемкиной, в которую был приглашен архиепископ и все гости, а также три мои бабушки сидели в ней, все молодые разместились в той же лодке; за нами уже плыли остальные, наполненные народом; зрелище было великолепное и торжественное. По берегу народ шел массами. К Успению в Святые Горы стекалось около 14 тысяч человек. Кто приезжал помолиться, а кто на ярмарку, которая расположена была по ту сторону Донца.

Недолго оставалось мне насладиться жизнью в Святых Горах при дорогой бабушке: подходило время к нашему отъезду. Все гости и родные разъехались, оставались мы одни. Таня кончила свои ванны. Наступил уже сентябрь.

XIX

Возвращение в Огарево.— Препятствия к поездке в Петербург.— Письма Т. Б. Потемкиной.— Отъезд в Петербург.— Необыкновенная доброта бабушки.— Характеристика А. М. Потемкина.— Болезнь сестры

Возвратившись в Огарево, мы опять зажили тихою семейною жизнью. С наступлением зимы мама думала отправить меня в Петербург, но в октябре было

получено письмо* Т. Б. Потемкиной, в котором она между прочим писала:

«Я бы очень желала приезда Лели сюда на эту зиму; но, к сожалению, я сама должна лишить ее и нас этого удовольствия — пребывания с нами. Жорж проводит здесь всю зиму, со «своей несчастной свитой»; и детям нельзя быть в «этой атмосфере». Поэтому не жду Лелю сюда, а приглашаю ее провести с нами лето в Крыму или в Святых Горах. Леля любит свет, особенно театр; она могла бы там встретить своего отца «с его свитой», и это было бы крайне неприлично. И потому советую вам иметь эту зиму ваших детей при себе, а на лето прислать нам Лелю и Соню, чтобы нам уж их всех знать. Я очень огорчена, что здоровье Тани не поправилось и что она болела дорогой. Она очень милая, и я ее очень люблю».

Письмо это крайне огорчило и обидело меня. Почему дочери нельзя находиться в том же городе, где ее отец? До его интимной жизни кому какое дело! И я решилась во что бы то ни стало ехать в Петербург. Мама́ разделяла мое мнение, и у нас завязалась переписка с бабушкой Татьяной Борисовной. Последняя, 5 декабря 1868 г., отвечала:

«Вчера вечером получила я ваше последнее письмо; оно такое печальное и так меня огорчило! Если моя милая Леля будет довольна своей прежней маленькой комнаткой наверху, то пусть приезжает! Я желаю ее видеть больше, чем она меня! M-me Герц на месте, но у меня есть другая особа, очень добрая, которую я привезла из Москвы; она помещается в комнате, где жила горничная Лели; а m-me Герц во время вашего отсутствия помещалась в комнате Лели, эта комната будет свободна 10 декабря; в тот день m-me Герц уедет. Не предавайтесь, дорогая моя, так сильно вашему горю, я его вполне разделяю и

* От 9 октября 1868 г.

надеюсь, что ваша вера утешит Его и приблизит вас к Богу, переносите ваше горе из любви к Нему. Я более жалею тех, у кого совесть обременена, а у вас она чиста; у вас та благая часть, что вы невинны и умеете прощать. Господь пребывает с вами и вам утешительно прибегать к Нему. Благодарю вас, что вы снова отпускаете свою дочь ко мне; я с радостью ее приму; пусть она приедет с братом.

Теперь я занята тем, что готовлю ей (то есть оставляю после себя) маленькую память; я всегда желала отдать ей Макатиху и дом в Славянске; но так как все это принадлежит моему мужу, то я ничего не могу сделать без его согласия. И, по этому случаю, я ему оставлю, после моей смерти, листик бумаги, где будет написана моя последняя воля, и я надеюсь, что он, из любви ко мне, согласится на это.

После моей смерти вы можете ему показать это письмо, написанное сегодня, 5 декабря 1868 г. Доверяя вам эту маленькую тайну, вы ее откроете после моему мужу; но не говорите об этом никому, чтобы ничто не помешало моему желанию, ибо мое письмо делается как бы маленьким документом в ваших руках! А если мой муж не согласится отдать Макатиху, то мы наградим ее чем-нибудь другим».

Я отправилась в Петербург вместе с братом. В вокзале Николаевской железной дороги меня встретил отец, посадил в карету, и мы с Дуняшей покатили в Миллионную. Бабушка встретила меня так же радушно и ласково, как и прежде.

Войдя в свои комнатки, мне так грустно было не найти в них моего друга, m-me Герц, которая только что уехала из Петербурга. В ту минуту, когда я думала об m-me Герц, оглядывая всю знакомую мне обстановку своих миниатюрных комнат, вошла ко мне моя новая сожительница, о которой писала бабушка. По наружности она была совершенный контраст с m-me Герц, и с первого взгляда можно было также ска-

зать, что в ней отсутствовали сентиментальность, застенчивость, несмелость, доходившая у m-me Герц до какой-то беспомощности. Она, наоборот, была смелая, живая, по-видимому, умевшая за себя постоять, когда нужно, и энергичная; доброта и в ней была сразу видна, и я тут же подумала, что мы будем друзьями и что поймем друг друга. Профессия ее была — живопись. Она приехала в Петербург сдавать экзамен в Академии художеств, а так как, обладая небольшими средствами, ей было трудно на них жить для этой цели в Петербурге, то Татьяна Борисовна приютила ее у себя, о чем Ю. А. Ш-ва с глубокой и искренней признательностью рассказывала мне, и при этом на лице ее отражалась горячая любовь к бабушке. Ну, когда я увидела это,— мое сердце сразу почувствовало и к ней расположение.

Бабушка Татьяна Борисовна, узнав, что Таня все болеет, немедленно написала матери моей, прося прислать ее для совета с хорошим петербургским доктором; я, конечно, была в восторге, что сестра приедет, но кругом меня я чувствовала неудовольствие некоторых при этом известии, и вопрос: «куда же поместит Татьяна Борисовна Ю. А. Ш-ву» интересовал всех. Несомненно, я не могла равнодушно отнестись к возбудившемуся неудовольствию, по случаю приезда моей сестры, и к тому, что Ю. А. останется без комнаты. Но последний вопрос добрая бабушка скоро разрешила, а от первого — не раз приходилось мне уходить в свои комнатки плакать...

Правда, что дом Потемкиных был «полон, как яйцо» — это слова бабушки, когда я в первый раз приехала к ней, она сказала: «Ta maison est remplie comme un oeuf»[154], но доброта ее непомерная всегда находила способ приютить у себя и успокоить. Ю. А. Ш-ва пришла ко мне с сияющим лицом и сказала: «Татьяна Борисовна нашла для меня уголок: я буду помещаться около ее спальни, в ее уборной!»

Это известие меня также обрадовало, но опять кругом нас слышались порицания желанию бабушки поместить Ю. А. рядом с собой; некоторые смеялись, некоторые ворчали, а некоторые, как и мы, находили, что отлично придумала Татьяна Борисовна. Те, которые смеялись, вспоминали следующий случай. Приехала однажды в Петербург какая-то игуменья по делам своей обители, позабыла ли она, потеряла ли свой вид, не помню, у нее его не было; полиция стала требовать его. Что было делать ей? Возвращаться обратно — было накладно, ожидать, пока выправят ей его — долго, и она отправилась прямо к Татьяне Борисовне, объявила ей, в чем дело, и Татьяна Борисовна, войдя в ее положение, предложила ей ту же комнатку, в которую помещала теперь Ю. А. Ш-ву, другой не было.

Игуменья с радостью приняла предложение и осталась. Привыкшая к скромной монастырской пище, к другому, может быть, маслу, она, не сообразив этого, кушала все, что предлагали; но не сразу почувствовала она себя дурно. Пришел вечер; распростилась она со всеми, и Татьяна Борисовна повела ее потихоньку в приготовленную рядом со спальной комнату и сказала: «Предупреждаю вас, матушка, что муж мой не знает о том, что я помещаю вас здесь, но другого помещения у меня нет, а поэтому прошу вас не выдавайте себя и меня; теперь вы можете затворить дверь, но мой муж имеет привычку всегда, войдя в спальню, отворить дверь в уборную. Не беспокойтесь! — сказала она, увидя испуг игуменьи,— туда он не входит и не войдет, только лежите смирно, чтобы не обратить его внимания». Все разошлись; игуменья исполнила все, что бабушка ей сказала, и спокойно улеглась. Александр Михайлович пришел в обычный свой час, по привычке отворил в уборную дверь, помолился Богу вместе с бабушкой (они всегда перед сном молились вместе) и лег спать; не

успел он заснуть, как вдруг услышал какие-то возгласы и шум в уборной; у игуменьи сделался кошмар от непривычной и обильной пищи, тогда Александр Михайлович в испуге и удивлении спрашивает бабушку: «Tatiane! Qu'est-ce que c'est?» и при этом хочет встать и посмотреть, что это за шум. Татьяна Борисовна в страхе, что тайна ее открывается и что это рассердит мужа, не пускает его; он настаивает идти посмотреть, что шумит в уборной, тогда Татьяна Борисовна, боясь, что он увидит и сконфузит бедную игуменью своим появлением, решается сказать ему истину: «Mais c'est l'abaisse, cher ange, que j'ai placé dans ma chambre, car je n'avais pas d'autre»*. Как варом его обдало признание жены, и он притих, конечно, недовольный иметь в таком близком соседстве лицо постороннее и совсем даже ему незнакомое; но можно ли было долго сердиться на поступок, который сделан был от доброго сердца? И Александр Михайлович смирился, не сказав ни слова, и, изменяя своей привычке видеть отворенную дверь в уборную, пошел потихоньку затворить плотнее, и засыпая, вероятно, думал о любвеобильном сердце своего ангела-жены.

На другой день весь Петербург знал о происшествии с игуменьей в доме Татьяны Борисовны, и дошла эта новость до императора Николая Павловича, который хохотал до истерики, слушая рассказ, и долго спустя дразнил бабушку, напоминая об игуменье, и заливался громким смехом, говоря: «Ну, что, Татьяна Борисовна, как поживает ваша игуменья? Не была ли еще у вас в гостях?»

Рассказывали еще следующий случай.

Одна из дам петербургского большого света возымела желание приблизиться к императрице и для этой цели притворилась обожающею бабушку Потемкину и не покидала ее почти ни на минуту. Она

---

* Но это монахиня, мой ангел, которую я поместила в своей комнате, потому что другой не имею.

сделалась необходимым для Татьяны Борисовны существом, сопровождавшим ее всюду, конечно, также и во дворец. Обладая умом, красивой наружностью, необыкновенно живым характером, она всем нравилась, и государыня ее полюбила. Между прочим она была страшная шалунья и любила шутить, устраивая разные проказы, так, например: когда у Татьяны Борисовны бывали духовные лица, она с ними вела разговоры, совершенно неподобающие их сану и положению, и ставила в тупик, смущала их, а Татьяну Борисовну удивляла, беспокоила и сердила. После подобного разговора с одним архиереем Татьяна Борисовна сделала ей замечание, но это не подействовало на шалунью, и она продолжала то же самое; тогда бабушка отдала приказание швейцару, чтобы г-жу М. не принимать, когда у нее будет кто-либо из духовных лиц. Что же сделала г-жа М., получив подобный отказ? Узнав заранее, когда ожидали приехавшего из провинции архиерея, который ее не знал, она достала себе монашеское одеяние, надела его и приехала в дом Потемкиных; швейцар ее не узнал, и так как монахини входили без доклада, он пропустил и ее. Войдя в кабинет бабушки, где сидел архиерей, беседуя с хозяйкой, она подошла под его благословение, отрапортовала, из какого монастыря, по каким делам монастырским приехала в Петербург и затем, обернувшись к бабушке, низко поклонилась ей... Изумление и ужас выразились на лице бабушки, когда она узнала в монахине г-жу М.; слова же замерли на устах, так как невозможно было выдать шалунью и поставить себя и духовное лицо в неловкое положение.

Слушая болтовню мнимой монашенки, бабушка сидела недовольная, ожидая с нетерпением, когда архиерей уедет, чтобы пожурить г-жу М.

Александр Михайлович Потемкин был страшный педант и, можно сказать, человек привычки; у него

весь день был рассчитан не только по часам, но даже по минутам, так, например: если время приходило кончить чтение, он даже и до точки не дочитывал и закрывал книгу; поэтому он страшно не любил людей, мешающих ему или заставляющих его менять, хотя в чем-нибудь, его обыденную жизнь, и вот г-жа М. была из тех, которая врывалась в дом не в урочные часы и засиживалась по вечерам у бабушки. Это мешало бедному старику приходить спать и молиться Богу в назначенный час, так как г-жа М. не уезжала прежде, чем бабушка не разденется; и вот вследствие этого она была, как говорят французы: «La bête noire d'Alexandre Mikaylovitch»*. Но после такой любви и ухаживанья за бабушкой, достигнув своей цели и приблизясь к государыне, она покинула окончательно любимую свою Татьяну Борисовну и даже почти перестала бывать в доме Потемкиных, на радость и удовольствие хозяина.

Не знаю, насколько это правда, и поэтому не выдаю за истину, но говорили мне, что у Александра Михайловича Потемкина были часы в неделе, когда он никому не отказывал, если у него просили денег, и будто бы один из его племянников, узнав об этом, выпросил у него чуть не сто тысяч для покрытия долгов.

Александр Михайлович был очень хороший человек и можно даже назвать его праведным, но между тем он все хорошее, доброе делал из принципа, тогда же как Татьяна Борисовна делала добро от потребности своей души и от горячей любви к ближнему, которую она сеяла по своему жизненному пути. Поэтому-то все ее знали, все ее любили, все стремились к ней, а Александр Михайлович стушевывался перед женой, несмотря на свои достоинства и несмотря на то, что он был хозяин и без него, без его разрешения ничего не делалось.

---

*Предмет ненависти Александра Михайловича *(ред.)*.

Думы мои перед приездом сестры были то радостные, то грустные: я продолжала чувствовать, что приезд ее считался лишним, неуместным, хотя она как близкая родственница хозяйки имела более прав, чем многие другие, на гостеприимство и любовь Татьяны Борисовны Потемкиной.

Когда сестра приехала, когда обнимала и целовала ее, я забыла все, что было у меня горького на душе перед ее приездом, и наслаждалась одной только мыслью, что я буду жить с сестрой и не буду уже чувствовать себя иногда одинокой среди этой шумной и холодной толпы.

Недолго пришлось мне наслаждаться обществом сестры. Вскоре после ее приезда она простудилась и заболела пятнистым тифом.

XX

Последние дни бабушки Т. Б. Потемкиной.— Ее болезнь.— Отъезд за границу и кончина

Приближалось то время, когда все петербуржцы направляют свои думы и мысли, как бы скорей и куда-нибудь уехать из столицы на отдых. Так и в доме Потемкиных шли разговоры об отъездах: сестру мою доктора отправляли за границу; отец мой был уже накануне поездки в Карлсбад; он чувствовал себя очень нехорошо и предвидел, что недолго будет жить.

Бабушка Т. Б. Потемкина стремилась, конечно, в Святые Горы и желала, чтобы я ехала с ней; но прежде собиралась она с мужем в Гостилицы на месяц, куда весь дом, со всем штатом перебирался на все лето. Мне же предстояло выбирать из многого: ехать с сестрой за границу, ехать в Святые Горы и Гостилицы или ехать к матери в Огарево. Когда так много выбора, то не знаешь, на чем остановиться, и я все раздумывала. Таня тянула меня с собой, и я начала

склоняться на поездку с сестрой за границу; а когда я сказала бабушке, что думаю сопровождать сестру, она даже, дорогая моя, рассердилась на меня и сказала:

— А я хочу, чтобы ты осталась со мной и ехала бы в Святые Горы. Тебе, конечно, все будут советовать ехать за границу, потому что не желают, чтобы ты была со мной, и сестра моя Софья в том числе. Но я тебе повторяю, не обращай на это внимания и оставайся со мной и знай, что я хозяйка!

Все эти слова бабушки меня страшно поразили! Я в первый раз слышала от нее открытый протест против всех и как бы раздражение на всех. Что это значило — я тогда не понимала. За завтраком кто-то спросил у меня, куда я еду на лето, и я ответила, что, вероятно, в Святые Горы.

— Пожалуйста, не воображай,— сказала ее сестра,— что Татьяна поедет в Святые Горы, да вам там и делать нечего! И все это лишние расходы, за что Александр Михайлович сердится, да и без вас там будет много, и места не будет.

— Ах! Sophie, что тебе за дело? Я желаю, чтобы они ехали.

— Да и ты не посмеешь ехать!— отвечала сестра,— как тебе не стыдно оставлять больного мужа? Ты его совсем не жалеешь!

Уговоры родственников и советы докторов убедили Татьяну Борисовну, что ей необходимо ехать за границу.

Перед отъездом в Гостилицы, во время последней обедни в доме на Миллионной, бабушка подводила к святому причастию старшую свою сестру, княгиню Елизавету Борисовну Куракину, которая с 25-летнего возраста была сумасшедшая[155].

Бабушка, княгиня Куракина, проводила лето всегда в Гостилицах, где для нее был отдельный дом, и это перед отъездом туда ее приобщали. В молодости она была красавица, талантливая, чудно играла

и рисовала; очень была образованная, воспитана была иезуитами. Мне рассказывали, что когда они были высланы из России, она из любви к ним, желая страдать за них и принести себя в жертву,— сожгла себе палец на свечи — это и был первый припадок сумасшествия; тогда ей было 25 лет. А другие говорили мне, что она помешалась от ревности, обожая своего мужа, который ей постоянно был неверен.

Один из князей Куракиных, бывши посланником в Париже, во время бала в Тюильри, когда сделался пожар, был спасен благодаря громадному количеству брильянтов, которые были на нем; жулики, которые очутились во время пожара во дворце, вынесли его, как драгоценную находку, и по мере того, как они обрывали с него брильянты, они его подхватывали и несли наружу, спасая его и самих себя, и, не теряя времени, набивали свои карманы его брильянтами.

Проводив сестру свою за границу с Катенькой, я стала собираться с бабушкой в Гостилицы, бывшее имение графа Разумовского.

Дворец в Гостилицах строил Растрелли[156]. Чудное это было местопребывание для лета: великолепный парк, сад, разнообразные цветники, масса фонтанов, каскад, пруды с лебедями и чистые светлые ручьи, где плавали форели,— все это представляло из себя что-то феерическое! Давно исчезло то время, когда я наслаждалась красотой Гостилиц, сидя где-нибудь на лавочке, прислушивалась к разнообразному плеску и шуму воды фонтанов и каскада, но все прошлое в моей памяти так живо, что я, припоминая то время, как сейчас вижу все перед глазами.

Дорогая бабушка видимо слабела и постоянно засыпала. Несмотря на это, отъезд ее за границу был неминуем и день выезда уже был назначен. Я была так расстроена близкой разлукой с дорогой бабушкой, и закравшееся предчувствие в мою душу меня сильно удручало. Пришла разлука. Лошади для меня были поданы; я, вся в слезах, пришла в спальню дорогой

моей незабвенной бабушки, где она, взяв из киота маленький образок Владимирской Божией Матери, благословила меня и сказала:

— Скажи твоей матери, что я хотела тебя взять с собой и мне горько с тобой расставаться, но... ты видишь, я так слаба, что не могу с ними бороться!.. Господь да прими тебя, дорогое дитя!

Бабушка также плакала. Последние бабушкины слова, как молотком, стучали мне и в сердце, и в голову — она «не может с ними бороться», она «стала слаба»! — Следовательно, она всю жизнь боролась и терпела, и много ей надо было твердости и энергии, чтобы идти по тому пути, который ей указывал Господь!.. Когда я садилась в экипаж, бабушка стояла на ступенях подъезда и осеняла меня крестом; я не спускала с нее глаз, и сердце говорило мне: смотри, смотри на свою бабушку, ты больше не увидишь ее.

Предчувствия мои оправдались; 29 июня 1869 г. бабушка Потемкина, приехав в Берлин с сестрой своей Софьей Борисовной и свитой[157], по пути к тем водам, куда послал ее профессор З., через полутора суток, а именно 1 июля, тихо, безболезненно и неслышно скончалась или, вернее, уснула...

Александр Михайлович Потемкин, как истинный христианин, принял горе, посланное ему Богом, и через два года после горячо любимой жены, прожив с ней 53 года, умирал в полном сознании, простившись со всеми окружающими его, исповедуясь громко, при всех присутствовавших и сокрушаясь о том, что часто мешал своему ангелу-жене делать добро, и, приобщившись Святых Тайн, спокойно отошел в вечность.

Ни мне, ни матери моей, ни отцу никто не сообщил о кончине бабушки, а о подробностях нашего горя я также ни от кого не слышала никогда и только из письма m-me Герц узнала некоторые подробности; о кончине же мы узнали из газет 10 июля.

«...Настоящая причина смерти г-жи Потемкиной неизвестна,— писала мне г-жа Герц,— так как наша любимая и дорогая покойница довольно спокойно перенесла трудное путешествие. В воскресенье, 29 июня, они приехали в Берлин, и к обеду г-жа Потемкина оделась во все белое; она обедала, как всегда, а вечером у нее был какой-то барон Сендэн, с которым она разговаривала почти два часа. Ночью горничная заметила, что г-жа Потемкина спит неспокойно. Она сейчас же пошла сказать об этом г-же Полторацкой, которая поспешила прийти к ней. Мирона (их лакея) сейчас же послали за доктором; и когда ей хотели поставить горчичник, который приготовили, доктор пришел и сказал, что все кончено. Мирон мне рассказывал все эти подробности и прибавил: «Она походила на спящего ангела!» В воскресенье, 6 июля, привезли тело г-жи Потемкиной; в понедельник я была на панихиде. Как грустно теперь в доме, где прежде нам было весело! Прислуга вся в трауре; лестница, крытая черным, всюду черные ковры, зеркала завешены. Когда всходила на лестницу, мне встретилась Софья Борисовна; она, вся в слезах, поцеловала меня. А в церкви — гроб дорогой, кроткой и милостивой Татьяны Борисовны, которую всегда будут благословлять и оплакивать сердца, умевшие понимать и ценить ее доброту! Гроб был дубовый, весь украшенный самыми красивыми цветами и венками из васильков. Великая княгиня Александра Петровна присутствовала на панихиде и заупокойной обедне[158]. В первом часу служил обедню митрополит Петербургский Исидор[159]. Во вторник, в 6 часов вечера, тело отвезли в Сергиевскую пустынь. Весь народ двигался за ней; я не могла там быть, но говорят, что провожали как святую. Всюду были панихиды, останавливались в трех церквах. В среду, 9 июля, я была на похоронах. Многочисленная толпа наполняла церковь; но половины родственников не было, ибо многие находились в то время в отсутствии. Я ничего не могу вам рассказать

о похоронах; одно только: это было так грустно! Я много думала и молилась о вас, дорогая княжна, я все вас видела перед собой, понимала вашу тяжелую потерю и глубокое горе! Мало таких людей, как она, на свете; она была единственная в своем роде; для меня было великим утешением, что я ее знала. Как сказал про нее генерал Баранцев: «Единственно, в чем можно упрекнуть ее, это, что она была слишком добра!» И это истинная правда, ибо она не понимала ни зла, ни интриг других людей. Это ваше первое великое горе! Для меня было бы очень приятно узнать, как вы переносите этот крест, посланный вам Богом. Прошу вас, дорогая княжна, сообщите мне, что вы думаете делать, и любите всегда ту, которая вас так любит».

«...Глас народа — глас Божий!» — писал мой отец в своих записках.

В чем же выразился этот глас народа?

8 июля нынешнего 1869 г., в день выноса тела покойной Татьяны Борисовны, от дома Потемкиных, в Большой Миллионной, по Невскому проспекту и так далее до заставы сплошная масса народа стеной стояла в благоговейном молчании, встречая печальную процессию, осеняя себя крестным знамением и шепотом произнося: «Царство ей небесное!»

Что же могло вызвать эту толпу и заставить провожать тело покойной?

Татьяна Борисовна уж не существовала; следовательно, нельзя было ожидать от нее былых милостей или постоянного ее заступничества.

Не была она такою официальной личностью, которая вызывала бы обязанность для многих участвовать в печальной процессии и тем самым, привлекая праздную толпу,— смотреть на погребальную помпу как на зрелище. Ни того, ни другого не было. Это было простое, теплое, задушевное, бескорыстное выражение любви к покойнице за ее высокие добродетели.

Высшей награды на этом свете быть не может!

КОММЕНТАРИИ

[1] *...о жизни моей матери, княгини Екатерины Николаевны Голицыной и моей двоюродной бабушки Татьяны Борисовны Потемкиной.*

Голицына Екатерина Николаевна, урожденная Бахметева (1822—1889), дочь Н. Д. Бахметева и С. И. Дуниной, мать мемуаристки.

Потемкина Татьяна Борисовна, урожденная Голицына (1797—1869) — статс-дама, русская благотворительница, председатель Петербургского дамского попечительного о тюрьмах комитета. На ее средства была восстановлена Святогорская пустынь на берегу Северского Донца (ныне лавра). Учредила на свои средства приюты для детей, богадельни и приюты для призрения дряхлых и больных, для приготовления иноверных к таинству крещения и для кающихся падших женщин.

Дочь кн. Б.А.Голицына и его супруги Анны Александровны, урожденной княжны Грузинской. В браке с А.М.Потемкиным. Венчание состоялось 7 февраля 1815 в Санкт-Петербурге.

[2] *...память о моем отце...*

Голицын Юрий Николаевич (1823—1872) — российский хоровой дирижер, получил образование в Пажеском корпусе. С раннего детства приобщился к музыке, уроки пения давал ему популярный тогда хоровой дирижер Г.Я.Ломакин. В 1841 г. продолжил образование в Германии, вернувшись в Россию, поселился в родовом имении Салтыки Тамбовской губернии (ныне с. Новочеркутино Добринского района). В 1852 г. получил диплом регента 1-го разряда с правом «учить церковному пению» и сочинять «новую церковную музыку». В 1854 г. был пожалован в камергеры. С начала 1840-х по 1850-е годы руководил хоровой капеллой, созданной из принадлежавших ему крепостных крестьян сел Подушкино и Новочеркутино (150 человек). С капеллой князь совершал гастроли в различные города России: Тамбов, Воронеж, Липецк, Лебедянь, Усмань. За переписку с А.И.Герценом он был лишен звания камергера и в 1859 г. сослан в г. Козлов, в 1860 г. бежал в Англию. По возвращении в Россию в 1862 г., жил в Ярославле, Москве, Петербурге. Вел широкую концертную деятельность, не только в России, но и за границей — в Берлине, Лондоне, Париже, Праге, Нью-Йорке. Включал в репертуар произведения русских композиторов (Д.С. Бортнянского, А.Ф.Львова, Г.Я.Ломакина). Голицын был автором духовной музыки, камерно-инструментальных и вокальных произведений. Оставил воспоминания (Прошедшее и настоящее. Из записок Ю.Н.Голицына. СПб., 1870).

[3] *Мать моя родилась и выросла в селе Водолагах Харьковской губернии.*

Усадьба Водолаги — родовое имение Дуниных-Барковских (ныне Нововодолажский район Харьковской губернии). От усадьбы сохранились остатки парка, здание начальной школы.

[4] *Бабушка моей матери, генеральша Мария Дмитриевна Дунина, рожденная Норова...*

Дунина Мария Дмитриевна, урожденная Норова (?—1852) — дочь Н.А.Норова (1730—1788) — генерал-майора, слободского украинского губернатора (1755). Будучи фрейлиной Екатерины Великой, Дунина поддерживала переписку с императрицей Марией Федоровной. Всегда сопровождала своего мужа в военных походах. Овдовев, жила в родовом имении Водолаги.

[5] *Муж ее, Иван Петрович Дунин, был генерал-аншеф...*

Дунин-Барковский Иван Петрович (1752—1806) — генерал от кавалерии (1797), шеф Елисаветинского гусарского полка (1796—1798). На военную службу зачислен с тринадцати лет. Владел родовым поместьем в с. Старая Водолага (ныне Нововодолажский район Харьковской губернии). Участник многих войн и баталий, в частности, Русско-турецкой войны 1787—1792 гг. В 1788 г. штурмовал Очаков. Кавалер российских орденов Святого Александра Невского (1793); ордена Святой Анны (1789); ордена Святого Георгия 4-й степени.

[6] *Моя мать была пятая дочь Софии Ивановны и Николая Дмитриевича Бахметевых...*

Бахметева Софья Ивановна (1798 ?—1848) — дочь М.Д. и И.П.Дуниных, бабушка мемуаристки. От брака с Н.Д. Бахметевым родилась дочь Екатерина (1822—1889) — мать мемуаристки.

Бахметев Николай Дмитриевич (1783—1851) — подполковник, майор Конного казачьего полка.

[7] *...молодая вдова Бибикова, рожденная Донец-Захаржевская...*

Бибикова (Бенкендорф) Елизавета Андреевна, урожденная Донец-Захаржевская (1788—1857) — статс-дама, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины. В первом браке за П.Г. Бибиковым (1784—1812), во втором — за А.Х.Бенкендорфом.

[8] *Прабабушка Дунина была в переписке со вдовствующей в то время императрицей Марией Феодоровной...*

Императрица Мария Федоровна (София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) (1759—1828) — супруга российского императора Павла I, мать Александра I и Николая I. Стояла у истоков Императорского человеколюбивого общества, Повивального института, ряда других филантропических обществ. После ее смерти император Николай I распорядился образовать IV отделение Собственной Е.И.В. канцелярии («Ведомство императрицы Марии»), которое ведало благотворительными и сиротскими заведениями.

[9] *...в Харьков приехал элегантный флигель-адъютант Бенкендорф...*

Бенкендорф Александр Христофорович (1782—1844) — русский государственный деятель, военачальник, генерал от кавалерии, шеф жандармов и Главный начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии.

[10] *...приезжает вдовец генерал Курис...*

Курис Иван Онуфриевич (?—1836) — полковник, участник Русско-турецких войн, сподвижник А.В.Суворова, впоследствии действительный тайный советник, новгородский вице-губернатор, оренбургский гражданский губернатор, волынский губернатор.

[11] *в сочинениях архиепископа Филарета Харьковского...*

Архиепископ Филарет (Дмитрий Григорьевич Гумилевский, при рождении Конобеевский) (1805—1866) — епископ Православной российской церкви, с 1857 г.— архиепископ Харьковский и Ахтырский, со 2 мая 1859 г. архиепископ Черниговский и Нежинский. Историк церкви, богослов, библеист.

[12] *...но лучше всех, говорят, были тетя моя, Елена Николаевна Бердяева, и моя мать.*

Бердяева Елена Николаевна (1814—?) — дочь Н. Д. и С. И. Бахметевых, сестра Екатерины Николаевны Голицыной, матери мемуаристки. Замужем за Бердяевым Михаилом Николаевичем (1792—1861) — генерал-лейтенантом русской армии, участником Отечественной войны 1812 г., дедом философа Н.А.Бердяева.

[13] *...она была из числа не любимых «сандрилионок»...*

От французского — «Cendrillion» — то же, что Золушка (по имени героини сказки Перро). («Мила как Грация, скромна как Сандрильона» — Е.Баратынский).

[14] *У бабушки же Софии Ивановны были фаворитки: старшая дочь Надежда и предпоследняя — София.*

Бахметева Надежда Николаевна (1796 ?—1852) — старшая дочь Н.Д. и С.И. Бахметевых.

Бахметева Софья Николаевна (? — 1885), в замужестве Герасимова — дочь Н.Д. и С.И. Бахметевых. Владела по завещанию селом Огарево в Пензенской губернии, которое впоследствии было передано ею Екатерине Николаевне, матери мемуаристки. Последние годы жизни, будучи тяжело больной, провела в Хорошевском Вознесенском женском монастыре близ Харькова.

[15] *У одной из старших кузин матери, М.К. Мухановой, рожденной графини Сиверс...*

Муханова Минодора Карловна, урожденная Сиверс (1812?—1878) — дочь графа К.К.Сиверса и Е.И.Дуниной. Замужем за Мухановым Сергеем Николаевичем (1796—1858) — генерал-майором, московским оберполицмейстером, харьковским и ор-

ловским губернатором, первым председателем Харьковского благотворительного общества.

[16] *В Киеве обе сестры часто посещали схимника отца Парфения...*

Парфений Киевский, Киево-Печерский (Краснопевцев Петр Иванович) (1750—1855). С 1819 г.— послушник Киево-Печерской лавры, в 1824 г. пострижен с именем Пафнутия. В 1838 г. пострижен в великую схиму с именем Парфения.

[17] *Стихотворение графа Алексея Толстаго совершенно его олицетворяет...*

Приведенное мемуаристкой стихотворение А.К.Толстого, в котором отразились темпераментность, пылкость натуры Ю.Н.Голицына, было посвящено родственнику поэта, известному археологу, основателю Московского археологического общества А.С.Уварову (1825—1884). В этом стихотворении есть и еще одно, последнее четверостишие, которого нет в воспоминаниях:

Коль плясать — так в хороводе,
Коль скакать — так на свободе,
Коль напасть — [так уж] врасплох,
Коль кричать — то с нами Бог.

(Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005. С. 261 (коммент.). Автограф стихотворения хранится в фонде Уваровых в ОПИ ГИМ).

[18] *Почему путешественники-французы, как, например, Кюстин, писали так много пошлостей о России?*

Кюстин Астольф де (1790—1857) — французский аристократ, монархист, писатель, путешественник. Приобрел мировую известность изданием своих записок о России, которую он посетил в 1839 г. («Россия в 1839 году». Т.1—4., 1843). В книге де Кюстина Россия предстала страной «варваров» и рабов, всеобщего страха и бюрократической тирании. Книга вызвала в Европе и России большой общественный резонанс.

[19] *Алексей Зиновъевич Зиновъев однажды выразился так...*

Зиновьев Алексей Зиновьевич (1801—1884) — русский филолог и историк, профессор Московского университета, преподавал в Демидовском юридическом лицее, Лазаревском институте восточных языков.

[20] *...Юрий Голицын служил чиновником по особым поручениям у харьковского генерал-губернатора князя Николая Андреевича Долгорукова.*

Долгоруков Николай Андреевич (1794—1847) — князь, государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, литовский и малороссийский генерал-губернатор.

[21] *Его прадед был знаменитый князь Михаил Михайлович Голицын...*

Голицын Михаил Михайлович (Старший) (1675—1730) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1725), президент Военной коллегии, сподвижник Петра I. Прославился в Северной войне 1700—1721 гг.

[22] *Прадед моего отца, по матери, был воспитателем императора Александра I, фельдмаршал, князь Николай Иванович Салтыков.*

Салтыков Николай Иванович (1736—1816) — виднейший царедворец своего времени, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей, фельдмаршал.

[23] *...княжна Елена Александровна Салтыкова, вышла замуж за князя Николая Борисовича Голицына...*

Салтыкова Елена Александровна (1802—1828) — внучка фельдмаршала Н.И.Салтыкова, мать отца мемуаристки Ю.Н.Голицына.

Голицын Николай Борисович (1794—1866?) — виолончелист, переводчик, военный мемуарист и музыкальный критик. Был одним из основоположников русской школы игры на виолончели. Состоял членом Петербургского филармонического общества и Общества любителей музыки.

Автор более двадцати музыкальных произведений, аранжировок. Отец Ю.Н.Голицына. В 1840—1850-е гг. жил в имении Салтыки Усманского уезда Тамбовской губернии (ныне Новочеркутино Добринского района), принадлежавшем его жене Елене Александровне. Именно здесь вместе с сыном Юрием он обучал хоровому и сольному пению крепостных мальчиков.

[24] *...после сражения под Лесным Петр, богато наградивши Голицына, спросил: какой милости еще он желает? «Государь,— ответил Голицын,— прости Репнина». Репнин был ему враг.*

М.М. Голицын считал, что А.И. Репнин, разжалованный Петром I в солдаты за неудачу в Головчинском сражении, должен вернуться в строй в чине генерала. Именно этот чин когда-то имел опальный военачальник. Петр I был удивлен такой просьбе, зная неприязненные отношения между Голицыным и Репниным. «Что значит вражда личная между нами, когда отечество и ты, государь, нуждаетесь полезными людьми?» — ответил Голицын. А.И.Репнин был прощен, бывшие недруги помирились.

[25] *...«Воспитание Александра I было вверено двум наставникам.... Николаю Ивановичу Салтыкову и знаменитому Лагарпу...»*

Лагарп Фредерик Сезар (1754—1838) — швейцарец, генерал, государственный деятель. Учитель Александра I, прививший ему руссоистские идеалы.

[26] *...сыну их, Александру, А.С.Пушкин, 18 мая 1823 г., написал следующую надгробную надпись:*

Отрадным ангелом ты с неба к нам явился
И радость райскую принес с собою к нам,
Но житель горних мест, ты миром не прельстился
И снова отлетел в отчизну к небесам.

Авторство А.С.Пушкина приведенной надгробной надписи рядом исследователей считается недоказанным.

27 *...в том числе Геннади...*

Геннади Григорий Николаевич (1826—1880) — русский библиограф, библиофил, историк литературы XIX в. Автор более 150 библиографических трудов по географии, статистике, истории и археологии. В 1860 г. создал свой главный труд — «Справочный словарь о русских писателях и ученых». Занимался переизданием и редактированием сочинений А.С.Пушкина. Этот опыт был не совсем удачен, что дало основание другу поэта, С.А.Соболевскому, написать следующую эпиграмму:

О жертва бедная двух адовых исчадий,
Тебя убил Дантес и издает Геннади.

28 *...стихотворение написано Пушкиным моей бабушке, княгине Е.А.Голицыной:*

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ея минутное вниманье
Отрадой долго было мне...

Е.Ю. Хвощинская ошибается. Это стихотворение было посвящено Голицыной Марии Аркадьевне (1802—1870) — внучке А.В. Суворова. Она училась в Смольном институте, где познакомилась с В.А.Жуковским и Н.М.Карамзиным. Очевидно, при посредничестве Жуковского и произошло знакомство М.А.Голицыной с поэтом. См., например: Черейский Л.А. Современники Пушкина. Документальные очерки. М., 1999. С. 142.

29 *...Прабабушка, княгиня Н.Ю.Салтыкова, была замечательно красива...*

Салтыкова Наталья Юрьевна, урожденная Головкина (1787—1860) — последняя представительница рода Головкиных, наследница головкинского майората. Получила право носить двойную фамилию (Салтыкова-Головкина). Эту фамилию носили и ее дети от брака с А.Н.Салтыковым.

30 *...Княгиня Екатерина Долгорукова, графиня Софья Шувалова, графиня Мария Потоцкая и князь Алексей Салтыков, по смерти которого Головкинский майорат должен был по указу перейти моему отцу, так как у князя Алексея Салтыкова не было мужского потомства.— Отец умер раньше, и майорат наследовал сначала мой брат Евгений, а после его кончины — мой старший сын Юрий.*

Долгорукова Екатерина Александровна, урожденная Салтыкова-Головкина (1803—1852) — дочь обер-церемониймейстера Высочайшего двора, князя А.Н.Салтыкова. Отличаясь слабым здоровьем, подолгу жила за границей.

Шувалова Софья Александровна, урожденная Салтыкова-Головкина (1806—1841) — дочь князя А.Н.Салтыкова. В 1825 г. состоялось бракосочетание с Г.П.Шуваловым.

Шувалов Григорий Петрович (1804—1859) — один из аристократов второй четверти XIX века, перешедший из православия в католичество и эмигрировавший в Европу. В Париже он был частым гостем в салоне С.Свечиной. В 1843 г. принял католичество, а в 1856 г. в Милане принял монашество.

Потоцкая Мария Александровна, урожденная Салтыкова-Головкина (1807—1845) — светская дама, прославившаяся своей красотой. В 1825 г. сочеталась браком с графом Болеславом Потоцким (1805—1893), шестнадцатым отпрыском польского магната Станислава Щенсного. Графиню Потоцкую любили и воспевали поэты. И.И.Козлов посвятил ей стихотворение «Первое свидание» (1837). Существует портрет М. Потоцкой кисти О. Кипренского, на котором она изображена вместе с сестрой С.А.Шуваловой.

Салтыков Алексей Александрович (1826—1874) — коллежский асессор, был женат на Вере Ивановне Лужиной (1832—1885).

Хвощинский Георгий (Юрий) Николаевич (1878—1928 или 1931) — сын мемуаристки Елены Юрьевны Голицыной и Николая Васильевича Хвощинского (1845—1912). Окончил Константиновское артиллерийское училище, в 1905 г. Николаевскую академию Генерального штаба. С 1895 г.— Головкин-Хвощинский. С 1918 г. в РККА. В 1924 г. уволен от службы. По одним сведениям — в 1928 г. застрелился, по другим — в 1931 г. был репрессирован и расстрелян.

[31] *Старшая в семье была прабабушка, княгиня Анна Александровна Голицына, рожденная княжна Грузинская, из рода грузинских царей, знаменитая красавица того времени.*

Голицына Анна Александровна, урожденная княжна Грузинская (1763—1842) — грузинская царевна, правнучка царя Вахтанга VI. Дочь царевича А.Б. Багратион-Грузинского и княжны Д.А.Меншиковой. Воспитывалась в Москве при дворе царя Арчила.

В июле 1875 г. вышла замуж за полковника А.А. де Лицына (1768—1789), незаконного сына вице-канцлера А.М.Голицына. Брак ее был недолог, в 1789 г. муж скончался от ран, и А.А.Голицына в 1790 г. вышла замуж за Б.А.Голицына (1766—1822) — гофмаршала при дворе цесаревича Константина Павловича.

Багратион Петр Иванович (1765—1812) — российский военачальник, генерал от инфантерии, Главнокомандующий 2-й

Западной армией в начале Отечественной войны 1812 г. Умер от смертельной раны в имении Б.А.Голицына «Симы» близ Юрьева-Польского.

[32] *Мой отец был очень привязан к семейству Долгоруких и всегда с благодарностью и любовью говорил о тетушке своей, княгине Долгоруковой, и муже ее, князе Илье Андреевиче. У них было две дочери: княгиня Екатерина, замужем за князем А. Б. Лобановым-Ростовским, и княжна Мария за князем Михаилом Алексеевичем Голицыным, а во втором браке за графом Остен-Сакеном.*

Долгоруков Илья Андреевич (1797—1848) — генерал-лейтенант, член декабристских организаций «Союз спасения» и «Союз благоденствия».

Долгорукова Екатерина Ильинична (1821—1860) — дочь И.А.Долгорукова, замужем за кн. Александром Борисовичем Лобановым-Ростовским (1821—1875).

Долгорукова Мария Ильинична (1822—1907) — дочь И.А. Долгорукова, супруга Голицына Михаила Александровича (1804—1860) — дипломата, библиофила, художественное собрание которого легло в основу Голицынского музея.

Остен-Сакен Николай Дмитриевич (1831—1912) — русский дипломат, действительный тайный советник, посол в Баварии (1880—1882, 1884—1895) и Германии (1895—1912).

[33] *В семействе Куракиных есть ее великолепный портрет, работы madam le Brun, который находится у Е.А.Нарышкиной, рожденной княжны Куракиной.*

Виже-Лебрен Мари Елизабет Луиза (1755—1842) — французская художница. Ее работы были популярны во Франции. Она была приглашена в Версаль писать портрет королевы. В 1783 г. художница была избрана в Королевскую академию живописи и скульптуры. Много разъезжала по Европе и России, выполняя заказы на портреты царственных особ и придворной аристократии.

[34] *Николай (мой дедушка), Александр и Андрей; Елизавета была за князем Куракиным, София за Полторацким, Татиана за Потемкиным и Александра за князем Мещерским.*

Голицын Николай Борисович (1794—1866) — полковник, участник Отечественной войны 1812 г., переводчик, военный историк и музыкант, виртуоз-виолончелист, отец Ю.Н.Голицына.

Голицын Александр Борисович (1792—1865) — адъютант великого князя Константина Павловича, саратовский и владимирский губернатор, мемуарист. Был женат на Анне Васильевне Ланской (1793—1868).

Голицын Андрей Борисович (1791—1861) — флигель-адъютант, генерал-майор, масон, председатель Комитета ланкастерских школ. После доноса о масонском заговоре был помещен в Кексгольмскую крепость, где находился четыре месяца.

С 1841 г. ему было разрешено жить «где пожелает», кроме Москвы и Петербурга.

Голицына Елизавета Борисовна (1790—1870), с 1808 г. супруга сенатора Б.А.Куракина. Отличалась религиозностью и перешла в католичество. Умерла в умопомешательстве.

Голицына Софья Борисовна (1795—1871) — фрейлина и кавалерственная дама, с 1818 г. замужем за генерал-майором К.М.Полторацким.

Голицына Татьяна Борисовна (1797—1869) — статс-дама, известная благотворительница. С 1816 года замужем за А.М.Потемкиным.

Голицына Александра Борисовна (1798—1876) — фрейлина. С 1820 г. замужем за генерал-майором, князем С.И.Мещерским (1799—1870).

[35] *У прабабушки Анны Александровны был один брат, князь Юрий Александрович Грузинский, известный своим буйным характером... У него была единственная дочь Анна Георгиевна, замужем за графом Толстым.*

Мемуаристка ошибается. У А.А. Грузинской было два брата — Александр и Юрий (Георгий) и сестра Дарья. Брат Александр Александрович Грузинский (1763—1823) — отставной полковник. Сестра Дарья Александровна воспитывалась в Москве.

Грузинский Юрий Александрович (1762—1852) — брат А.А. Грузинской. Сведения о его буйном характере и криминальном прошлом, упомянутые мемуаристкой, видимо, основаны на семейных преданиях. Жил в Нижнем Новгороде, где два раза (1795, 1807) избирался предводителем дворянства. Большую часть жизни жил в селе Лыскове, которое отстроил и благоустроил. Был женат на Варваре Бахметевой, у него было двое детей — сын Иван и дочь Анна (1798—1889), в замужестве Толстая.

[36]*...по просьбе его прадеда, графа Юрия Александровича Головкина...*

Головкин Юрий Александрович (1762—1846) — сенатор, член Государственного совета, посол в Китае и Австрии, действительный тайный советник.

[37] *Товарищ его, генерал М.П.Данилов...*

Данилов Михаил Павлович (1825—1906) — генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии, герой сражения при Четати, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

[38] *...первым учителем его был Бианки, а пению учил его Ломакин, дирижер капеллы графа Шереметева.*

Ломакин Гавриил Якимович (1812—1885) — русский хоровой дирижер и музыкальный деятель. Родился в семье крепостного, был отпущен на волю графом Н.Д.Шереметевым. В 1822 г. пел в хоровой капелле гр. Д.Н.Шереметева, в 1850—1872 гг. руково-

дил мужским хором гр. С.Д.Шереметева. С 1830 г. одновременно преподавал пение во многих учебных заведениях Петербурга: Императорской придворной певческой капелле (1848—1859), Екатерининском институте, Императорском училище правоведения, Александровском лицее, Пажеском корпусе.

[39] *...в один из приездов в свое родовое имение Салтыки...*

Салтыки (Усманского уезда Тамбовской губернии — ныне с. Ново-Черкутино Добринского района Липецкой области) — родовая усадьба Голицыных-Салтыковых. Принадлежала жене Н.Б.Голицына, Елене Александровне Салтыковой. Усадьба была культурным гнездом. Здесь часто звучала музыка. Н.Б. Голицын был музыкантом, виртуозным виолончелистом, прекрасной пианисткой была и его жена Елена Александровна. Именно здесь их сын, будущий музыкант Юрий Николаевич Голицын, получил первые уроки хорового и сольного пения. В 1840 г., после смерти матери, имение перешло к Ю.Н.Голицыну.

[40] *...в том числе и шафер отца, граф Сухтелен, и князь Федор Григорьевич Голицын...*

Граф Сухтелен — это, вероятнее всего, один из сыновей П. К. Сухтелена (1751—1836) — крупного военного инженера, коллекционера.

Голицын Федор Григорьевич (1819—1887) — князь, харьковский губернский предводитель дворянства, камергер, действительный статский советник, композитор-дилетант.

[41] *...большой белый сдобный папошник...*

Папошник (папушник) — мягкий пшеничный домашний хлеб, калач.

[42] *...полотенце с жамками...*

Жамок (жемок) — русское народное лакомство, маленький пряник из серой муки, скатанный в руках и приплюснутый.

[43] *...он вообразил, что к нему все соседи должны приехать знакомиться и праздновать его приезд...*

В дворянском сословно-родственном общении важное место занимали добрые отношения с соседями по имению. Было принято новому владельцу или прибывшему в свое имение после долгого отсутствия посетить соседей и установить с ними дружеский контакт.

[44] *...они поехали знакомиться с соседями, и в том числе... с Рахманиновыми, жившими от Салтыков в 25 верстах в селе Знаменском.*

Знаменское — усадьба Рахманиновых. Куплена в 1761 г. Г.И.Рахманиновым, после смерти которого усадьбу наследовал А.Г.Рахманинов. Он был прекрасным музыкантом (скрипачом). В 23 года женился на М. А. Бахметевой. При них в усадьбе был организован хор певчих и оркестр. В 1880 г. усадьба была передана внучке А.Г.Рахманинова Юлии Аркадьевне, в замужестве Зило-

ти. Знаменское было культурным гнездом, оставившим заметный след в музыкальной культуре России. Здесь подолгу гостили представители семьи Зилоти — А.И.Зилоти, ученик Н.Г. Рубинштейна, несколько раз в усадьбе бывал С.В.Рахманинов. В годы Гражданской войны усадьба была разрушена.

[45] *Аркадий Александрович Рахманинов был прекрасной души человек и великолепный пианист (ученик Фильда).*

Рахманинов Аркадий Александрович (1808—1881) — сын А.Г. Рахманинова и М.А. Бахметевой, муж В.В.Павловой. Композитор, пианист, собиратель народных песен. Наставник в композиторских опытах Ю.Н.Голицына. Дед С.В.Рахманинова.

Филд (Фильд) Джон (1782—1837) — ирландский композитор, основоположник ноктюрна. Славился как пианист-виртуоз. Большую часть жизни провел в России.

[46] *Варвара Васильевна, жена его (Рахманинова)... сестра ее, Мария Васильевна Павлова... Мать их, Анна Михайловна Павлова, урожденная Соковнина, жившая также с ними...*

Рахманинова Варвара Васильевна, урожденная Павлова (?—1896) — жена Аркадия Александровича Рахманинова, с которой Ю.Н.Голицын был в теплых дружеских отношениях и вел переписку.

Павлова Мария Васильевна — сестра Варвары Васильевны, в семье которой она прожила всю жизнь.

Павлова Анна Михайловна, урожденная Соковнина («Бабуша») — мать Варвары Васильевны и Марии Васильевны, жившая с семьей Рахманиновых в Знаменском.

[47] *Не позволял никогда брать у них лишнего рабочего дня, кроме трех дней в неделю.*

В России Манифестом Павла I от 5 апреля 1797 г. предписывалось ограничивать использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков 3 днями в течение каждой недели и запрещалось принуждать крестьян работать в воскресные дни.

[48] *...в Тамбовском институте и в других учебных заведениях...*

Одним из старейших тамбовских институтов был Александринский институт благородных девиц (1843 г.). Цель создания института была воспитание девочек благородного происхождения, обеспечив им придворную карьеру или выгодное замужество. Для сирот и дочерей обедневших дворян предназначалось место помощницы воспитательных женских учебных заведений.

[49] *... сенатором М.Н.Сазоновым и И.А.Сабуровым.*

Сазонов Михаил Николаевич (?—1903) — тайный советник, сенатор, выпускник Александровского лицея.

Сабуров Иван Александрович (1836 — ?) — штабс-капитан, участник Крымской войны.

[50] *... в гостиницу «Демут»...*

Открыта еще в XVIII в. купцом из Франции Филиппом Якобом Демутом (1796 г.). Демут перестроил трехэтажный трактирный дом. Именно это заведение французского купца стало популярным и считалось самой комфортабельной гостиницей города. В XIX в. здесь бывали А.С.Пушкин, П.Я. Чаадаев, А.С.Грибоедов. В конце XIX в. гостиница была закрыта и выкуплена одним из банков.

[51] *...директор Правоведения, генерал Языков...*

Языков Александр Петрович (1802—1878) — генерал-лейтенант, директор Императорского училища правоведения, член Александровского комитета о раненых, писатель.

[52] *Уехав... из Салтыков, он поручил матери следить за учением крестьян.*

Общепринятое мнение о поголовной неграмотности крепостных крестьян и дворовых не совсем верно. Многие помещики считали выгодным для себя обучение грамоте крестьян и особенно дворовых, которые могли вести счета, другие различные хозяйственные работы, требующие элементарной грамоты.

[53] *На Пасхе народ, приложившись к образам и похристосовавшись с причтом, поголовно весь христосовался со своим князем и княгинею, целуя их непременно по три раза.*

Пасха была одним из самых почитаемых православных праздников. Она, как правило, отмечалась в усадьбе торжественно, к ней заранее готовилась вся помещичья семья. Этот праздник был символом единения всех усадебных жителей — членов дворянской семьи, дворовых, крепостных крестьян и священнослужителей. Владелец усадьбы угощал крестьян, приглашал к праздничному столу священника с семьей.

[54] *...был в Харькове концерт Дрейшока, известного в то время пианиста...*

Дрейшок Александр (1818—1869) — пианист-виртуоз. Учился музыке в Праге у пианиста и композитора Томашека (1774—1850), бывшего директором Пражской капеллы. В 1840 г. приехал в Россию, где пробыл около двух лет. С 1862 г.— профессор Петербургской консерватории.

[55] *...в Салтыках он составил небольшой хор из женских голосов; еще попозднее он собрал настоящий большой хор из мужских и детских голосов в 150 человек; этот-то хор был известен не только в наших столицах, но и за границей, куда он с ним путешествовал.*

Хор крепостных Голицына возник в 1842 г. Вначале концерты проходили в имении Салтыки, затем в Тамбове, Козлове, Липецке, Моршанске, Москве, Петербурге. В программу капеллы наряду с произведениями известных российских композиторов включались сочинения самого Ю.Н. Голицына. Капелла прельщала слушателей национальным русским репертуаром,

чистотой интонации, особой хоровой звучностью. В 1875 г. из-за финансовой несостоятельности Ю.Н.Голицын был вынужден распустить капеллу.

[56] *...она должна была ехать в первый раз в приемный день к княгине Долгоруковой (жене князя Василия Андреевича).*

Долгорукова Ольга Карловна, урожденная де Сен-При, дочь графа Армана-Карла-Эммануила де Гриньяр Сен-При и Софьи Алексеевны Голицыной (1807—1853). Она была популярна в светских салонах. Один из современников писал: «При дворе ее не любили за ум, за остроту, за прямизну характера, но не могли не уважать именно за те самые качества, за которые не любили».

Долгоруков Василий Андреевич (1804—1868) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, военный министр во время Крымской войны. При Александре II — Главноуправляющий III Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии и шеф жандармов (1856—1866).

[57] *...проводила время у своей двоюродной сестры, Марии Павловны Звегинцевой, рожденной Черепановой...*

Звегинцева Мария Павловна, урожденная Черепанова (1817—1849).

[58] *...была в Москве знаменитая певица Альбани...*

Альбани Эмма (Мари Луиз Сесиль Лаженес) (1847—1880?) — канадская оперная певица. Солистка театров Ковент-Гарден и Метрополитен-опера.

Мемуаристка что-то путает, Э. Альбани не могла гастролировать в Москве в 1840-е годы, ее гастроли в Москве и Петербурге проходили в 1873 г.

[59] *В 1844 г., 15 сентября, родился в Салтыках мой брат Евгений, а через год — брат Юрий, умерший четырех лет.*

Голицын-Головкин Евгений Юрьевич (1844—1887) — князь, капитан 2-го ранга, участник Крымской войны, единственный брат мемуаристки. Учился в Тамбовском кадетском училище, Морском корпусе.

Был женат дважды — до 1875 г. на Е.А. Салтыковой-Головкиной, с апреля 1882 г.— на Хелен Сикар. Умер в своем имении Константинове Полтавской губернии.

[60] *Была я раз у детей принца Ольденбургского...*

Ольденбургский Петр Георгиевич (1812—1881) — Его Императорское Высочество (1845), российский военный и государственный деятель, внук Павла I, член Российского Императорского дома, генерал от инфантерии, член Государственного совета, сенатор, Главноуправляющий IV Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, главный начальник женских учебных заведений Ведомства императрицы Марии.

От его брака с принцессой Терезой-Вильгельминой Нассауской (1815—1871) родилось восемь детей.

[61] *...у меня было белое тарлатановое платье...*

Тарлатан — мягкая, редкого переплетения хлопчатобумажная ткань типа кисеи; использовалась при пошиве женского платья.

[62] *...война в Крыму была еще в полном разгаре...*

Здесь имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг. (Восточная война) — война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Голицыны были непосредственными участниками войны. Шестидесятилетний Н.Б.Голицын организовал из числа крестьян отряд добровольцев, получивший наименование «Новооскольская 45-я дружина», которая входила в состав Курского ополчения. Вскоре в Крым прибыл его сын Юрий и даже 10-летний внук Евгений.

[63] *Он избрал г. Козлов, где купил себе дом.*

«Дом князей Голицыных» — г. Козлов, ул. Гагарина, 4 А. В нем 25 июня 1996 г. открыт литературно-музыкальный музей. Дом построен в 1823 г. Реставрационные работы начались в 1991 г., одновременно началось формирование фондов музея (ныне в музее более 5500 экспонатов). Один из залов музея посвящен Голицыным.

[64] *...два стихотворения: одно Лермонтова «Я жить хочу», а другое — отца моего «Моление — О Господи! Прости мя!» — оба положенные им на ноты.*

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Я жить хочу» положено на музыку Ю.Н.Голицыным (Петербург, 1868 г.) и «Молитва» («В минуту жизни трудную»), которая не упомянута мемуаристкой (дуэт, в сопровождении скрипки, Петербург, 1860).

(Лермонтов в музыке. Справочник./сост. Л. Морозов, Б. Розенфельд. М., 1983. С. 46—47).

[65] *Последний этот романс, кажется, в 1868 или 1869 г., был чудно спет Лавровской в первый раз в концерте, данном отцом моим в Дворянском собрании с аккомпанементом оркестра, которым он сам дирижировал.*

Лавровская Елизавета Андреевна (в замужестве княгиня Цертелева) (1845—1919) — русская оперная и концертная певица (контральто), педагог. Закончила Петербургскую консерваторию. В 1868—1872, 1879—1880 гг. она пела на сцене Мариинского театра, в 1890—1891—на сцене Большого театра. Активно выступала как концертная певица.

[66] *...незадолго до Крымской кампании он увлекся дочерью друзей своих Р-вых.*

Скорее всего речь идет об одной из дочерей А.А. и В.В.Рахманиновых.

[67] *...любезный друг В...ра В...на,— писал он Р-вой...*

Речь идет о Варваре Васильевне Рахманиновой, урожденной Павловой.

[68] *...сижу дома, учу петь Андреева...*

Андреев Николай Александрович (1836—1898) — русский певец, драматический тенор, педагог. Учился пению у Ф. Ронкони (Петербург), его пение отличалось силой драматического выражения, высокой вокальной культурой.

[69] *...разбираю Рейсигера увертюру...*

Рейсингер Карл Готлиб (1798—1859) — немецкий композитор и дирижер. В Мюнхене он написал увертюру, антракты и хоры к трагедии «Нерон» (1822).

[70] *...писал он в то же время Ар. Ал. Р-ву...*

Ю.Н.Голицын писал Аркадию Александровичу Рахманинову.

[71] *...постоянное и благородное ваше и Марии Васильевны участие...*

Ю.Н.Голицын перечисляет членов семьи Рахманиновых: М.В. Павлову, сестру Варвары Васильевны, Аркадия Александровича Рахманинова, «Бабушу» — Анну Михайловну Павлову, урожденную Соковнину.

[72] *...упросите вашего мужа этим временем управлять не так Салтыками (т.е. мелочным хозяйством), как долгами по имению...*

Ю.Н.Голицын обращается к своему другу Варваре Васильевне Рахманиновой с просьбой спасти родовое имение Салтыки от разорения — упросить Аркадия Александровича «управлять долгами по имению».

[73] *...въезд в село Огарево.*

Село Огарево Инсарского уезда Пензенской губернии было родовым имением сестры матери мемуаристки — генеральши Софьи Николаевны Герасимовой, которое она получила в приданое. Видя бедственное положение своей сестры, Софья Николаевна отдала ей половину Огарева, а впоследствии продала ей оставшуюся часть на очень выгодных условиях.

[74] *...избы были у них закопченные дымом, так как все почти были курные.*

Курная изба — крестьянская изба, топившаяся «по-черному», т.е. дым из печи выходил прямо в избу.

[75] *...живши при монастыре в Хорошеве (18 верст от Харькова)...*

Хорошевский Вознесенский женский монастырь в окрестностях Харькова был основан между 1654 и 1660 гг. на месте Старого городища, известного еще в XII в. Главный монастырский Вознесенский храм освящен в 1759 г.

[76] *...отправился узнать о ней у харьковского старожила, бывшего губернатора, двоюродного брата тети графа А.К.Сиверса...*

Сиверс Александр Карлович (1823—1887) — граф, вице-губернатор Харьковской губернии (1854), Саратовской губернии (1855—1856), гражданский губернатор Харьковской губернии (1862—1866).

[77] *«Perdu, retrouvé et envoyé par le prince Goerges»...*

«Потерялся, нашелся, был послан принцем Георгием».

[78] *Мама́ познакомилась с одним из своих родственников А.Я.Потемкиным...*

Потемкин Алексей Яковлевич (1822 — ?), женатый на Варваре Александровне Толстой.

[79] *...он громко читал мама́ «Чужое имя», роман соч. Ахшарумова, который печатался в «Русском вестнике».*

Ахшарумов Николай Дмитриевич (1819—1893) — русский писатель, литературный критик. Активно печатался в «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Ниве», «Вестнике Европы». Роман «Чужое имя», опубликованный в 1861 г. в «Русском вестнике», был очень популярен в то время.

[80] *...певали подблюдные песни...*

Песни, исполнявшиеся во время святочных и других гаданий. Каждый куплет соответствовал определенному жизненному событию (замужество, смерть и др.). Участники складывали на блюдо, покрытое платком, какие-либо личные вещи (кольца, ленты и проч.) и пели подблюдные песни, а кто-то один вынимал их под припев «Кому вынется, тому сбудется».

[81] *...каждая (горничная) своей любимой княжне мостила мостики и клала королей под подушку, а на другой день, улыбаясь, осведомлялась, что́ видела княжна, кто́ через мостик ее переводил?*

В народной традиции были широко распространены святочные гадания. Способов гадания было огромное количество: от посещения банника и оклика прохожих, у которых узнавали имя суженого, до бросания за ворота башмака. Здесь описан один из способов святочного гадания с использованием игральных карт.

[82] *...Мейербер, узнав о моем присутствии в Берлине...*

Мейербер Джакомо (1791—1864) — немецкий и французский композитор. В 1831 г. с рождением его оперы «Роберт-дьявол» возник жанр «Большой французской оперы». Стиль мейерберовской Большой оперы был достигнут путем слияния немецкой оркестровой традиции, искусства bel canto и французской декламации.

[83] *...большое зало с резонатом...*

Мемуаристка, видимо, имела в виду определенное резонансное устройство (например, голосники), которое было крайне необходимо в зале, где постоянно звучали музыка и пение.

[84] *...гостила у Т.Б.Потемкиной, в Гостилицах, близ Петергофа...*

Гостилицы — одна из самых известных дворянских усадеб, расположенных в окрестностях Петербурга (ныне Ломоносовский район). Начало ей положил фельдмаршал Б.К.Миних: эта усадьба была ему подарена Петром I. Именно при Б.К.Минихе был выстроен усадебный ансамбль — дом, «потешная крепость». В 1743 г. усадьба была подарена А.Г.Разумовскому. При нем она была благоустроена, были созданы гроты и фонтаны, выкопаны пруды.

В 1824 г. Гостилицы покупает А.М.Потемкин. В усадьбе его женой, Т.Б.Потемкиной, урожденной Голицыной, была построена школа для крестьянских детей. В разные годы архитектурный ансамбль усадьбы возводили известные архитекторы А.В. Квасов, Дж. Кваренги. В 1842 г. Потемкины начали строительство нового дворца, пригласив выдающегося зодчего А.И.Штакеншнейдера.

Усадьба Гостилицы сохранилась частично. Отреставрирована церковь Троицы Живоначальной (архитектор А.В.Квасов. 1755—1764). Дворец Потемкиных находится в руинированном состоянии. Сохранились некоторые парковые сооружения. Усадьба является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[85] *...он несколько раз виделся с Герценом и завел с ним переписку...*

За переписку с А.И.Герценом Ю.Н.Голицын был лишен звания камергера и в 1859 г. сослан в Козлов. В 1860 г. эмигрировал в Англию.

[86] *Он прочитал ее Андрею Николаевичу Муравьеву...*

Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874) — камергер российского Императорского двора, православный духовный писатель и историк церкви, паломник и путешественник, драматург, поэт. Почетный член Императорской академии наук (1836).

[87] *Стелловский может получить от меня эти статьи об Англии для своего журнала...*

Стелловский Федор Тимофеевич (1826—1875) — русский издатель музыкальных и литературных произведений, торговец нотами и книгами, типограф. Купец 2-й гильдии. С 1852 г. стал издавать «Музыкальный альбом» (приложение к журналу «Пантеон»), в 1858—1860 гг. издавал журнал «Музыкальный и театральный вестник», газету «Русский мир» (1860—1862), журнал «Гудок».

[88] *Что Стелловский? Что Даргомыжский? Что Серов?*

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — русский композитор, чье творчество оказало большое влияние на

развитие русского музыкального искусства XIX в. Являлся основоположником реалистического направления в русской музыке.

Серов Александр Николаевич (1820—1871) — русский композитор и музыкальный критик, действительный статский советник.

[89] *Перепиши это письмо и перешли В.В. Р-вой.*

Адресатом является Варвара Васильевна Рахманинова, урожденная Павлова.

[90] *...на афишах чуть не аршинными буквами красовались имена Альбани и Олебуля.*

Альбани Эмма (1847—1930) — канадская оперная певица. Уже в 1856 г. дала свой первый сольный концерт в Монреале как певица и пианистка.

Олебуле, имеется в виду Булль Улле (1810—1880) — (полное имя Уле Борнеманн Булль), норвежский скрипач и композитор. Его техническое мастерство могло соперничать с Паганини. Основал в Бергене Норвежский национальный театр (1850) и привлекал к работе в качестве драматурга и режиссера 23-летнего Х.Ибсена.

[91] *...отделение начиналось увертюрой из разных опер. А именно: «Цампы», «Фенеллы», «Бронзового коня» и «Фра-Диаволо».*

Опера «Цамп,» или Мраморная невеста» (1831). Композитор Фердинанд Герольд (1791—1833).

Опера «Фенелла» (первоначальное название «Мазаньелло, или Немая из Портичи») — опера Даниэля Обера (1782—1871). В России была поставлена под названием «Фенелла», а с 50-х годов XIX века «Палермские бандиты».

«Бронзовый конь» — опера-феерия композитора Д. Обера по либретто Э. Скриба (1835).

«Фра-Дьяволо» (1830) — комическая опера Д.Обера. Вплоть до 1911 г. выдержала 909 постановок. Автор либретто Э. Скриб.

[92] *...я надеюсь поставить «Жизнь за Царя»...*

Знаменитая опера М.И.Глинки («Иван Сусанин»). Автор либретто барон Егор Розен. Премьера состоялась в 1836 г. в Петербурге.

[93] *... мы заезжали к нашим друзьям Р-м и оставались у них гостить...*

Речь идет о Рахманиновых.

[94] *...почти всегда начинал он с «Любви роскошная звезда» из «Руслана»...*

Ария из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила».

[95] *...подавать на проскомидию...*

Проскомидия — первая часть Божественной литургии, приготовление к евхаристии. На проскомидии заготавливают хлеб и

вино будущего таинства причащения. В конце читаются молитвы «О здравии» и «О упокоении» на основании записок, которые подаются на проскомидию.

[96] *Повезли нас в театр, где давали «Эсмеральду» и «Аскольдову могилу».*

«Эсмеральда» — трагическая опера в 4 действиях А.С.Даргомыжского (1813—1869). Либретто автора по роману В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера состоялась 5 декабря 1847 г. в Москве.

«Аскольдова могила» — романтическая опера А.Н.Верстовского (1835) по одноименной повести М.Н.Загоскина. Премьера состоялась в 1836 г.

[97] *...пригласил нас на всю зиму погостить к себе в Курскую губернию, село Богородское.*

С. Богородское Курской губернии (ныне Новооскольский район Белгородской обл.) принадлежало Николаю Борисовичу Голицыну (1794—1866). В 1854 г. эти земли были переданы казне. В 1861 г. сестра Николая Борисовича, Т.Б.Потемкина, выкупила эти земли. К 1900 г. в с. Богородском насчитывалось 2800 жителей, 2 церкви.

[98] *Бабушка, кн. Вера Феодоровна, рожденная Пешмен, воспитывалась у прабабушки кн. Анны Александровны Голицыной...*

Голицына Вера Федоровна, урожденная фон Пешман (1809—1872) — вторая жена Н.Б.Голицына. До принятия православия — Вильгельмина Фридриховна Пешман. Была воспитанницей княгини А.А.Голицыной, матери будущего мужа. У них было четверо детей — Анна (1830—1832); Александр (1831—1834); Борис (1833—1888) — полковник; Николай (1836—1893) — историк и библиограф.

[99] *...мы выехали в Святые Горы (Харьковской губ.) к бабушке Т.Б.Потемкиной.*

Свято-Успенская Святогорская лавра — православный монастырь Украинской православной церкви. В 2004 г. получил статус лавры. До 1918 г.— Святогорская Успенская пустынь. Первое письменное упоминание о местности Святые Горы относится к 1526 г. Первое упоминание о монастыре — 1624. В 1787 г. монастырь был упразднен, в таком состоянии находился 57 лет. Земли оставались в роду Потемкиных. В 1844 г. по ходатайству Т.Б.Потемкиной монастырь был восстановлен.

Ныне лавра является значительным духовным центром православной паствы восточной Украины и юга России.

[100] *Из Харькова поехали к тете С.Н.Герасимовой, в Хорошев монастырь.*

Тетя мемуаристки Софья Николаевна Голицына (в замужестве — Герасимова) последние годы жизни провела в Хорошевском Вознесенском женском монастыре в окрестностях Харькова.

[101] *... поехали в Водолаги к дяде Ивану Николаевичу Бахметеву...*

Бахметев Иван Николаевич (1830 — ?) — сын Н.Д. и С.И. Бахметевых — дядя мемуаристки. Водолаги — родовое имение Дуниных-Барковских.

[102] *...провести лето в ее маленьком имении Макатихе, в 2 верстах от Славянска и в 14 от Святых Гор.*

Славянск — город Изюмского уезда Харьковской губернии. Основан в 1676 г. под именем Тор (переименован при Екатерине II). Известен своими солеваренными заводами.

[103] *...поместила Соню и Таню в Тамбовский институт...*

Имеется в виду Александринский институт благородных девиц в Тамбове.

Соня и Таня — сестры мемуаристки. Голицына Софья Юрьевна (1851—1919), была замужем за Владимиром Алексеевичем Потемкиным (1848—1905).

Голицына Татьяна Юрьевна (1853—1933), была замужем за бароном Франческо Гальвани (1840—1902).

[104] *...была начальницей ее друг, Е.Д.Тимофеева, рожденная Краун...*

Тимофеева Евгения Дмитриевна (?), урожденная Краун — начальница Александринского института благородных девиц в Тамбове в 1862—1865 гг.

[105] *... институточек в длинных камлотовых платьях...*

Камлот — грубая шерстяная ткань диагонального переплетения.

[106] *...мы были приняты в семействе г-на Бедряги...*

Бедряги относятся к малороссийским переселенцам. Есть две ветви этого семейства — одна обосновалась в Харьковской губернии, другая — в Воронежской. Среди представителей воронежской ветви — герои Отечественной войны 1812 г.— Николай Григорьевич Бедряга (?—1856), полковник, участник Бородинского сражения; Бедряга Иван Иванович получил землю в Старобельском уезде Воронежской губернии, начал военную службу рядовым и закончил ее генерал-майором.

[107] *...Новый год мы поехали встречать в Новгородскую губернию, в село Оброчное, к двоюродному брату матери, Александру Яковлевичу Потемкину...*

Мемуаристка, видимо, ошибается — Александра Яковлевича Потемкина в 1865 г. уже не было в живых (1820—1849). Речь скорее всего идет о его брате Алексее Яковлевиче Потемкине (1822 — ?), который был женат на Варваре Александровне Толстой.

[108] *...трудный танец «матлот»...*

Матлот (фр. matelot) — матросский танец.

[109] *...кто-то из моих друзей, кажется, Ольга Философова...*

Личность О. Философовой не установлена. В списке фрейлин императрицы Марии Александровны ее нет.

[110] *...директором был Воин Андреевич Римский-Корсаков...*

Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822—1871) — русский мореплаватель, географ, писатель, реорганизатор системы военно-морского образования. В декабре 1861 г. был назначен исправляющим должность директора Морского кадетского корпуса, с этого времени начинается ряд преобразований в процессе обучения и воспитания в корпусе.

[111] *...воспитателем брата был Алексей Николаевич Епанчин...*

Епанчин Николай Павлович (1823—1913) — русский адмирал, военный педагог. По окончании Морского кадетского корпуса был произведен в мичманы с оставлением в офицерском классе. В 1845 г. прикомандирован к Морскому корпусу преподавателем навигации и астрономии.

[112] *Вернувшись в Россию, во Владимирскую губернию, село Симы...*

Усадьба Симы — Юрьев-Польской уезд Владимирской губернии. В 1708 г. село было подарено кн. М.М.Голицыну (1675 — 1730) за победу над шведами под д. Лесной. Сюда был привезен раненный при Бородинском сражении князь П.И.Багратион. Он скончался в с. Симы и здесь же был похоронен. Позднее прах его был перенесен на Бородинское поле. На месте захоронения в Симах стоит обелиск. В доме кн. Голицыных размещается народный музей П.И.Багратиона.

[113] *...бабушка поехала на хоры с великой княгиней Марией Николаевной...*

Великая княгиня Мария Николаевна (1819—1876) — старшая дочь Николая I и императрицы Александры Федоровны. Замужем за Максимиллианом Евгением Иосифом Августом Наполеон-Лейхтенбергским (1817—1852). Имела семерых детей. Мария Николаевна носила траур по умершему супругу.

[114] *Она, как мудрая дева, не гасила своего светильника в ожидании Жениха... Она со страхом ждала полночи и боялась не быть готовой, когда раздастся крик «Жених идет!»*

Здесь имеется в виду евангельская притча о десяти разумных и неразумных девах (Евангелие от Матфея. Глава 25, стих 1—13).

[115] *...советовал мне познакомиться с Фотием, имеющим на него большое влияние...*

Имеется в виду Фотий — архимандрит (в миру Петр Никитич Спасский) — (1792—1838), известный церковный деятель, настоятель новгородского Юрьева монастыря. По отзывам современников, был лукавым и льстивым святошей. Оказывал сильное влияние на Александра I. При поддержке

А.А.Аракчеева успешно боролся с обер-прокурором Св. Синода А.Н.Голицыным. Широко пользовался огромными средствами своей духовной дочери гр. А.А. Орловой-Чесменской. Один из обличителей деятельности известного протестантского проповедника Иоанна Госснера.

[116] *...она часто бывала в Сергиевской пустыни...*

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь (Сергиева пустынь, Троице-Сергиева пустынь) — православный мужской монастырь, ныне в черте Петербурга. Основан в 1734 г. До 1918 г. имел статус первоклассной обители. С 1819 до 1834 г. находился в ведении петербургских викариев — епископов Ревельских.

[117] *...в откровенной беседе с отцом Игнатием (тамошним настоятелем)...*

Игнатий Брянчанинов (1807—1867) — епископ (Брянчанинов Дмитрий Александрович), из дворян. Духовный писатель. Оставил военную службу и постригся в монахи. В 1833—1837 гг. настоятель Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. С октября 1857 г.— епископ Кавказский и Черноморский. Автор «Аскетических опытов» (1865), «Отечника» (1903). Канонизирован Русской православной церковью.

[118] *Во время моего пребывания в Святых Горах приезжала моя сестра Мещерская со своим племянником Гончаровым...*

Голицына Александра Борисовна (1798—1876), фрейлина, сестра Татьяны Борисовны Потемкиной, с 1820 г. замужем за Сергеем Ивановичем Мещерским (1799— 1870) — флигель-адъютантом, затем генерал-майором Свиты Е.И.В. (1835). Сестрой Сергея Ивановича была Мария Сергеевна Мещерская (1815—1859), замужем за Иваном Николаевичем Гончаровым (1810—1881), братом Н.Н. Пушкиной. Сыном Ивана Николаевича был Александр Иванович Гончаров (1844—1906 ?) — титулярный советник, с 1870 г. работал в департаменте Правительствующего Сената.

[119] *В апреле месяце разнеслась по России страшная и непостижимая весть о покушении на жизнь нашего государя и дошла до нашего уединенного уголка.*

Речь идет о покушении 4 апреля 1866 г. на Александра II террориста Д.В.Каракозова (1840—1866). Террорист стрелял в императора у Летнего сада, но промахнулся.

[120] *...мы вышили воздухи...*

Воздух — один из трех покровов (больший) для Св. Даров: дискос и потир покрываются малыми покровами порознь и затем накрываются вместе воздухом. Украшен шитыми золотом изображениями креста и серафимов.

[121] *...и скоро подъехали к ярко освещенному дому на Миллионной.*

Дом Потемкиных на Миллионной улице в Петербурге (№ 22). Построен во второй половине 1730-х годов на месте сгоревших деревянных палат неизвестным архитектором. В 1770-х годах перестраивался по проекту А.Ринальди. Первым владельцем дома был Федор Андреевич Апраксин (1703—1754), женатый на А.М.Шереметевой. В начале 1778 г. владелицей становится бывшая супруга герцога Петра Бирона — Евдокия Борисовна, урожденная Юсупова. В дальнейшем дом переходил от одного владельца к другому — Е.П.Барятинская, граф В.П.Кочубей, А.Б.Куракин. В 1818 г. дом нанимает А.М.Потемкин, в 1820 г. дом становится его собственностью. Благодаря его жене Татьяне Борисовне Потемкиной дом на Миллионной становится центром благотворительности.

[122] *....в особенности выделялись своей красотой тетушка Подчацкая, графиня Завадовская и М.О. Смирнова.*

Речь, видимо, идет о Елизавете Петровне Потемкиной (1796—1870), урожденной Трубецкой. Во втором браке за И.И. Подчасским (1792—1879) — русским чиновником, действительным тайным советником, сенатором, художником-любителем. С 1828 г. числился членом Московского попечительного о тюрьмах комитета. В 1833 г. был утвержден попечителем Работного дома. В 1859 г. он женился на известной светской красавице Елизавете Петровне, вдове графа С.П.Потемкина (1787—1858).

Завадовская Елена Михайловна, урожденная Влодек (1807—1874) — известная в свое время красавица, ей посвящали стихи А.С.Пушкин, И.И.Козлов, кн. П.А.Вяземский. Замужем за Василием Петровичем Завадовским (1798—1855), обер-прокурором Сената.

Смирнова Марья Осиповна (?) — дочь Осипа Смирнова и Евы-Александры Васильевны Смирновой.

[123] *...в особенности хороши были мать Татьяны Борисовны, моя прабабушка, княгиня Голицына, и ее сестра, княгиня Трубецкая, мать Е.П.Подчацкой, на которую она была похожа.*

Трубецкая Дарья Александровна, урожденная Грузинская (?—1796) — мать Е.П.Трубецкой (Потемкиной, Подчасской).

[124] *Часы только что начались...*

Часы — особое богослужение, посвященное воспоминаниям о тех или иных церковных событиях. Различаются первый час, соответствующий мирскому седьмому часу утра, третий — девятому, шестой — двенадцатому, девятый — третьему часу пополудни.

[125] *Одну из таких мамаш я помню: красавицу княгиню Е.Г.Волконскую...*

Волконская Елизавета Григорьевна (1838—1897) — княгиня, писательница, идеолог русского католического движения, богослов, историк церкви. В 1887 г. перешла в католичество. Автор книг «О Церкви. Исторический очерк» (вышла в Берлине

в 1888 г., в России была запрещена), «Род князей Волконских» (СПб., 1900).

[126] *...мы в трауре по моем брате Александре... Эта смерть меня так поразила, что я заболела.*

Речь идет об Александре Борисовиче Голицыне (1792—1865), действительном статском советнике, саратовском губернаторе (1826—1830), владимирском губернском предводителе дворянства.

[127] *...в этой же комнате находились только члены семьи, живущие в доме, а именно: дядя, князь Борис Андреевич Голицын, сын его — Саша...*

Голицын Борис Андреевич (1828—1870) — князь, полковник, племянник Т.Б. Потемкиной. Женат на Неониле Ивановне Кутайсовой.

[128] *Я очень и очень грущу... Причин к тому много: кончина брата Николая...*

Речь идет о Николае Борисовиче Голицыне (1794—1866).

[129] *Мои прелестные племянницы Шуваловы и Рибопьер...*

Шуваловы — родственницы Т.Б.Потемкиной со стороны С.А.Салтыковой-Головкиной (1806—1841), вышедшей замуж в 1825 г. за Г.П.Шувалова (1804—1859).

Рибопьер — родственницы Т.Б.Потемкиной со стороны Екатерины Михайловны Потемкиной (1788—1872), родной сестры А.М.Потемкина. Е.М.Потемкина была замужем за Александром Ивановичем Рибопьером (1771—1865) — русским дипломатом швейцарского происхождения, управляющим государственными банками, действительным тайным советником.

[130] *Только раз, помню, одна из посетительниц меня очаровала...Это была княгиня Суворова.*

Это, скорее всего, Суворова Мария Аркадьевна (1802—1870), в замужестве Голицына. С 1820 г. была замужем за М.М.Голицыным (1793—1856).

[131] *Нам писали, что она больная, ... лежит не дома, а во дворце великого князя Николая Николаевича, вследствие падения ее там с подъемной машины.*

Речь идет о дворце Николая Николаевича (Старшего) (1835—1891) — третьем сыне Николая I, генерал-фельдмаршале, участнике Крымской войны, Главнокомандующем русской армией в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В его дворце был установлен своеобразный лифт (подъемная машина), повреждение троса которого и стало причиной падения Т.Б.Потемкиной. Получив серьезные травмы, Татьяна Борисовна осталась чудом жива.

[132] *В этом году было освящение собора архиереем Макарием (впоследствии митрополит Московский).*

Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816—1882) — богослов, писатель, действительный член Московского археологического общества (1867).

[133] *Мещерский тоже приехал на великолепное освящение церкви.*

Муж Александры Борисовны Мещерской, урожденной Голицыной — сестры Татьяны Борисовны. Мещерский Сергей Иванович (1799—1870) — флигель-адъютант.

[134] *Каждое воскресенье у нас бывала m-lle Есипова, знаменитая пианистка...*

Есипова Анна Николаевна (1851—1914) — российская пианистка и музыкальный педагог. В 1871—1892 гг. жила за границей, но часто выступала с концертами в России.

[135] *...я была на дебюте двух наших знаменитостей, молодых артисток, Есиповой, участвовавшей в концерте своего учителя Лешетицкого, и Лавровской — в роли Вани в «Жизни за Царя».*

Лешетицкий Теодор (в России был известен под именем Федора Осиповича) (1830—1915) — польский пианист, музыкальный педагог и композитор.

[136] *...m-me Hertz, провожая его печальным взглядом и несколькими вздохами, тихо сказала: «Pauvre homme! Comme il est avide!»...*

С фр.— «Бедный человек! Какой он скупой».

[137] *...«Astronome D-r Pitschner, privat-docent á l'académie de Genève».*

Астроном, доктор Питчер, приват-доцент Женевской академии.

[138] *...вдруг господин астроном открыл свои глазки и громко, восторженно закричал: «Maintenant je vais finir, par vous expliquer ce que c'est les Nébuleuses sont...»*

С фр.— «Теперь я заканчиваю, чтобы объяснить вам, что такое туманности».

[139] *Княжна Голицына, воспитывавшаяся у своего деда Фандуклея, человека очень богатого, полюбила 50-летнего старика, генерала Краснокуцкого...*

Фундуклей Иван Иванович (1804—1880) — меценат греческого происхождения, археолог. В 1839—1852 гг. был гражданским губернатором Киевской губернии. Тринадцать лет его губернаторства, которые покончили на время с коррупцией, в истории отмечены как лучшие годы правления губернией. Многое сделал для развития женского образования, он содействовал улучшению Киевского института благородных девиц. Им была основана первая в России женская гимназия, носившая его имя — «Фундуклеевское женское училище». Занимался изучением древностей — принимал непосредственное участие в

составлении 2 томов «Обозрения Киева и Киевской губернии по отношению к древностям».

Краснокуцкий Николай Александрович (1818—1891) — генерал от кавалерии (1878), генерал-адъютант (1868). Был женат на Анне Григорьевне Голицыной.

140 *...через несколько времени я была приглашена на бал графиней С. А. Толстой.*

Бахметева Софья Андреевна (в первом браке Миллер, во втором — графиня Толстая) (1827—1895) — супруга писателя Алексея Константиновича Толстого. Поддерживала знакомство со многими деятелями культуры своего времени.

141 *О платье позаботилась дорогая бабушка. Оно было очень простое: белое тарлатановое, украшенное длинной водяной зеленью и белыми лилиями...*

Тарлатан — мягкая, редкого переплетения хлопчатобумажная ткань типа кисеи.

142 *Я вообразила, что без куафера на бал невозможно причесаться...*

Куафер — парикмахер высшего класса, причесывавший, как правило, дам высшего света.

143 *C'est votre premier bal,il faut que vous y amusiez...*

С фр.— «Это Ваш первый бал, поэтому развлекайтесь».

144 *...подозвав свою племянницу С.П.Бахметьеву...*

Бахметева Софья Петровна (1848—1910), в замужестве Хитрово — приемная дочь графа А.К.Толстого, супруга дипломата и поэта Михаила Хитрово, хозяйка петербургского салона.

145 *...и я даже одного из них, графа Ностица, навсегда окрестила в симпатичного графа.*

Ностиц Иван Григорьевич (1824—1905) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны, фотограф-любитель.

146 *Но кто меня окончательно очаровал в первый мой выезд — это Б. Маркевич, наш талантливый романист.*

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — русский писатель, публицист, литературный критик.

147 *...котильонные значки...*

Котильон — танец-игра с анонимным приглашением кавалеров и дам по крохотным букетикам цветов или значкам-розеткам, составленным из цветных лент.

148 *Милая Софья Яковлевна Веригина...*

Веригина Софья Яковлевна (1819—1898), дочь графа Якова Николаевича Булгари, жена Александра Ивановича Веригина (1807—1891) — русского военачальника, генерала от инфантерии, члена Государственного совета.

Состояла в Совете петербургских приютов, была попечительницей Николаевского детского приюта в Петербурге.

[149] *C'est tout-á-fait son père-sensible á la beauté de la musique.*

С фр.— «Это вполне в духе Вашего отца, чувствительного к красоте музыки».

[150] *Накануне одного из его концертов в 1869 г., 13 февраля, в котором участвовали г-жи Лавровская, Платонова, Леонова, Петров, Власов и Гордеев...*

Платонова Юлия Федоровна (1841—1892), в замужестве Тванеева (?), урожденная Гарднер — актриса Императорской Санкт-Петербургской оперной труппы, оперная певица, музыкальный педагог.

Леонова Дарья Михайловна (1834—1896) — русская оперная певица, контральто, солистка Мариинского (Петербург) и Большого (Москва) театров.

Петров Осип Афанасьевич (1807—1878) — артист оперы (бас), оперетты и драмы, концертный певец и вокальный педагог.

Власов Степан Григорьевич (1854—1919) — русский оперный певец (бас) и вокальный педагог, заслуженный артист Императорских театров.

Описанный мемуаристкой концерт состоялся в 1869 г., будущему певцу тогда было 15 лет.

[151] *...княгини Веры Федоровны Голицыной...*

Речь идет о Вере Федоровне Голицыной (1809—1872), урожденной фон Пешман, жене Николая Борисовича Голицына.

[152] *Архимандрит, отец Герман, был настоятелем монастыря...*

Герман Святогорский (Григорий Иванович Клица, 1816—1890) — архимандрит, настоятель Святогорского монастыря. Причислен к лику святых Украинской православной церковью 8 мая 2008 г.

[153] *...крепоновый длинный шарф...*

Имеется в виду шарф из крепа — шелковой, чаще всего одноцветной ткани особой выделки с шероховатой поверхностью.

[154] *...она сказала «Ta maison est remplie comme un oeuf»...*

С фр.— «Мой дом набит, как муравейник».

[155] *...княгиню Елизавету Борисовну Куракину, которая с 25-летнего возраста была сумасшедшая.*

Куракина Елизавета Борисовна (1790—1870) — сестра Т.Б.Потемкиной. Отличалась религиозностью, перешла в католичество. В минуту религиозной экзальтации сожгла себе руку на жаровне, вследствие чего пришлось делать ампутацию. Позднее сошла с ума.

[156] *Дворец в Гостилицах строил Растрелли.*

Мемуаристка ошибается. Есть предположение исследователей, что автором проекта был Ч. Камерон. Дворец же Потемкиных на месте обветшавшей постройки строил архитектор А.И. Штакеншнейдер (Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворян-

ские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Ломоносовский район. СПб., 1999. С. 53).

[157] *...приехав в Берлин с сестрой своей Софьей Борисовной и свитой...*

Голицына Софья Борисовна (1795—1871) — фрейлина, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, сестра Татьяны Борисовны Потемкиной, в замужестве Полторацкая. Полторацкий Константин Маркович (1782—1858) — военный и государственный деятель, полковой и бригадный командир во время Отечественной войны 1812 г., участник 5 войн, ярославский военный и гражданский губернатор, генерал-лейтенант.

Овдовев, Софья Борисовна жила в доме своей сестры на Миллионной улице в Петербурге.

[158] *Великая княгиня Александра Петровна присутствовала на панихиде и заупокойной обедне.*

Великая княгиня Александра Петровна (в иночестве Анастасия, 1838—1909) — супруга великого князя Николая Николаевича, сына императора Николая I. Основательница Покровского монастыря в Киеве. Активно занималась благотворительностью, в Петербурге основала Покровскую общину сестер милосердия, больницу, амбулаторию, отделение для девочек-сирот, училище фельдшериц. Видную роль играла как представительница Совета детских приютов Ведомства императрицы Марии Федоровны.

[159] *...служил обедню митрополит Петербургский Исидор.*

Митрополит Исидор (Иаков Сергеевич Никольский. 1799—1892) — епископ Православной российской церкви, митрополит Киевский, с 1 июля 1860 г.— Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский, первенствующий член Святейшего Синода.

СОДЕРЖАНИЕ

ISBN 978-5-85209-381-3



Подписано в печать 08.06.2016.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 500 экз.
Заказ № 4. Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.

Елена Юрьевна Хвощинская (1850–1907) — дворянка, дочь известного российского хорового дирижера и композитора Ю.Н. Голицына. Описывая жизнь и события своей семьи, она рисует яркую картину провинциальной усадебной России 1850–1860-х годов. Частое обращение автора к мемуарам отца и письмам двоюродной бабушки придает тексту необычайный колорит и большую достоверность. Повествование прекрасно иллюстрирует нравы дворянства того времени, взаимоотношения его представителей с людьми простого сословия, представляет картины семейных праздников, балов и разных забавных ситуаций

